

Генрик Сенкевич

# Огнем и мечом



Трилогия

Генрик Сенкевич

**Огнем и мечом**

«Public Domain»

1884

## **Сенкевич Г.**

Огнем и мечом / Г. Сенкевич — «Public Domain»,  
1884 — (Трилогия)

«Удивительным был 1647 год, в котором различные явления на небе и на земле предвещали народу бедствия и необыкновенные события. Летописцы того времени говорят, что весной в Диких Полях появилась в несметном количестве саранча и уничтожила посевы и травы, что служило предвещанием татарских набегов; летом произошло полное солнечное затмение, вскоре после него на небе появилась комета; в Варшаве жители видели над городом в облаках могилу и огненный крест...»

## Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	12
Глава III	20
Глава IV	29
Глава V	40
Глава VI	50
Глава VII	54
Глава VIII	57
Глава IX	62
Глава X	68
Глава XI	72
Глава XII	81
Глава XIII	85
Глава XIV	88
Глава XV	96
Глава XVI	107
Конец ознакомительного фрагмента.	109

# Генрик Сенкевич

## Огнем и мечом

### Часть первая

#### Глава I

Удивительным был 1647 год, в котором различные явления на небе и на земле предвещали народу бедствия и необыкновенные события.

Летописцы того времени говорят, что весной в Диких Полях появилась в несметном количестве саранча и уничтожила посевы и травы, что служило предвещанием татарских набегов; летом произошло полное солнечное затмение, вскоре после него на небе появилась комета; в Варшаве жители видели над городом в облаках могилу и огненный крест.

Все усердно постились и подавали милостыню в ожидании моровой язвы, которая должна была, по уверению некоторых появиться в стране и истребить человеческий род. Наконец настала такая теплая зима, подобной которой не помнили даже старожилы: в южных воеводствах реки совсем не замерзли, а некоторые из них выступили из берегов и затопили окрестности. Часто выпадали дожди. Степь размокла и превратилась в большое болото, а солнце в полдень до того жгло, что – о чудо из чудес! – в Брацлавском воеводстве и в Диких Полях степь и нивы покрылись зеленью уже в половине декабря. На пасеках начали роиться и жужжать пчелы, а в загонах ревел скот.

Такой порядок вещей казался неестественным, и все на Руси тревожно посматривали в направлении Диких Полей, откуда легче, чем из какого-нибудь другого места, могла появиться опасность.

В степи между тем не происходило ничего необыкновенного, не было иных битв и стычек, кроме тех, которые всегда происходили там и о которых знали только орлы, ястребы, вороны да степные звери.

Такова уж была эта степь. Последние следы оседлой жизни кончались на юге, за Чигирином, недалеко от Днестра, а за Днестром, от Умани до лиманов и моря, простиралась степь, охваченная двумя реками и как бы заключенная в их объятия.

На Днепровской луке, на низовье и за порогами еще кипела казачья жизнь, но в самой степи никто не жил, и разве только по окраинам кое-где торчали полянки, словно островки среди моря.

Де поміє степь эта принадлежала Польше, которая, ввиду ее пустынности, позволяла татарам пасти там свой скот; казаки, однако, часто противились этому, и тогда пастбище превращалось в место побоища.

Сколько там произошло битв, сколько пало людей, никто не считал и не помнил. Видели это одни только орлы, ястребы и вороны, а кто издали слышал шум крыльев и карканье, кто видел стаи птиц, парящих над одним местом, тот знал, что там лежат трупы или кости...

В траве там охотились на людей, точно на волков; охотился, кто хотел. Человек, спасаясь от преследований властей, уходил в степь; вооруженный пастух стерег свое стадо; рыцарь искал там приключений; вор – добычи, казак – татарина, татарин – казака. Бывало так, что приходилось защищать стадо против целой шайки разбойников. Степь была пустынна, но в то же время населена, тиха и грозна, спокойна и полна засад, дика, но не одной только дикостью своих полей, но также и дикостью своих обитателей.

Иногда в степи происходили и большие войны. Тогда по ней волками рыскали татарские чамбулы, казацкие, польские или валахские полки. По ночам ржание лошадей вторило волчьему вою, звуки литавр и медных труб долетали к самому морю, а на Черном и Кучманском трактах двигались массы людей.

Границы Польши от Каменца до Днепра оберегались станицами и полянками, и воины по бесчисленным стаям птиц, испуганным чамбулами и летевшим на север, сейчас же узнавали о начавшемся движении на тракте. Татары, выйдя из Черного Леса или перейдя Днепр с Валахской стороны, появлялись в южных воеводствах вместе с птицами.

В эту зиму, однако, птицы не летели с криком к Польше. В степи было тише обыкновенного, и в ту самую минуту, с которой начинается наша повесть, заходило солнце, и красные лучи его освещали совершенно пустую окрестность. На северной стороне Диких Полей на Омельнике, вплоть до его устья, самое острое зрение не могло бы заметить ни души, ни малейшего движения в темном засохшем и увядшем бурьяне. Над горизонтом виднелась только половина солнечного диска; небо уже потемнело, а за ним понемногу темнела и степь.

На левом берегу, на небольшом возвышении, скорее похожем на курган, чем на холм, виднелись развалины каменной станицы, некогда построенной Феодором Бучацким и уничтоженной погромами. От этих руин падала длинная тень. Вдали сверкали воды широко разлившегося Омельника, который в этом месте поворачивал к Днепру. Отблески солнца на небе и на земле постепенно исчезали. С вышины долетал только крик журавлей, вереницей летевших к морю.

Над пустыней нависла ночь, а с нею наступил и час духов и привидений. В станицах сторожевые воины рассказывали друг другу, что по ночам в Диких Полях появляются тени людей, павших насильственной смертью, и водят там свои хороводы, и что даже церковь не в состоянии воспрепятствовать им. Поэтому-то, когда на севере догорали последние полосы света, в станицах творили молитвы за упокой умерших. Говорили также, что тени всадников, блуждающие по пустыне, преграждают дорогу путникам и со стоном умоляют осенить их крестным знаменем.

Между ними попадались также и упыри, которые с воем гонялись за людьми. Привычное ухо издали отличало вой упырей от волчьего воя. Видели также целые войска теней, которые так близко подходили к станицам, что стража начинала бить тревогу.

Это служило обыкновенно предзнаменованием большой войны. Встреча с отдельными тенями тоже не обещала ничего хорошего, но не всегда, однако, следовало видеть в этой встрече злое предвещание, так как не раз и живой человек появлялся и исчезал перед путником, как тень, и легко мог быть принят за духа. Следовательно, ничего не было удивительного в том, что как только над Омельником нависла ночь, около опустевшей станицы сейчас же появился дух или человек. В то же самое время из-за Днепра выглянул месяц и облил белым светом пустошь, головки бодяков и степную даль. Одновременно с этим в глубине степи появились еще какие-то ночные существа. Скользящие точки поминутно заслоняли лунный свет, и фигуры эти то выдвигались из тени, то снова погружались в нее; временами они исчезали совсем и, казалось, таяли, как тени. Приближаясь к возвышенности, на – которой стоял первый всадник, они крались медленно, тихо и осторожно, останавливаясь каждую минуту.

Что-то страшное было в их движениях, как, впрочем, и во всей этой степи, на вид кажущейся такой спокойной. Временами с Днепра дул ветер, жалобно шелестя травой в засохшем бурьяне, который нагибался и дрожал как бы в испуге. Потом фигуры исчезли, спрятавшись в тени развалин; при бледном ночном свете виднелся один только всадник, стоящий на холме. В конце концов шум этот привлек его внимание. Подъехав к фаю холма, он стал внимательно вглядываться в степь. В эту минуту ветер затих, шум умолк и воцарилась тишина.

Вдруг послышался пронзительный свист. Воздух огласился криками: «Алла, Алла! Иисусе Христе! Спасайся! Бей!» Раздались выстрелы самопалов, и красный их отблеск на минуту рассеял темноту ночи.

Лошадиный топот смешался со звоном оружия. Появились какие-то всадники, точно выросли из-под земли, и словно буря разразилась в степи, объятая доселе зловещей тишиной. Людские стоны вторили страшным крикам; наконец все утихло – схватка была кончена.

Очевидно, в Диких Полях разыгралась одна из обычных сцен.

Всадники сгруппировались на холме; некоторые из них слезли с лошадей и внимательно к чему-то присматривались.

«Эй, там! Развести огонь!» – раздался вдруг в темноте сильный, повелительный голос.

Через минуту посыпались искры и показалось пламя костра, зажженного из очерета и смолистых веток, которые все проезжающие по Диким Полям всегда возили с собой. Мигом в землю вбили шест для очага, и яркое пламя осветило группу людей, склонившихся над каким-то человеком, лежавшим на земле без всякого движения. Это были солдаты, одетые в красные кафтаны и волчьи шапки. Один из них, сидевший на породистом коне, по-видимому, был их предводителем; сойдя с лошади, он подошел ближе к лежавшему на земле и, обращаясь к одному из солдат, спросил:

– А что, вахмистр, жив он или нет?

– Жив, господин начальник, но хрипит; аркан сдавил ему горло.

– Кто он?

– Это не татарин, должно быть, кто-нибудь из важных!

– Ну слава Богу.

Начальник отряда внимательно посмотрел на лежащего.

– Как будто гетман! – сказал он.

– А под ним был татарский конь, лучше которого не найти у самого хана, – ответил вахмистр – Вон его держат.

Начальник посмотрел в ту сторону, и лицо его прояснилось. Действительно, двое солдат держали прекрасного породистого коня, который, раздувая ноздри и прядя ушами, смотрел испуганными глазами на своего господина.

– А конь, господин начальник, достанется нам? – вопросительно произнес вахмистр.

– А ты, собака, хотел бы и в степи отнять коня у христианина?

– Но ведь это наша добыча...

Дальнейший разговор был прерван сильным хрипением лежащего на земле человека.

– Влить ему в рот водки и развязать пояс! – приказал начальник.

– Мы будем здесь ночевать?

– Да. Расседлать коней и развести костер.

Солдаты живо вскочили. Одни начали приводить в чувство и растирать лежавшего, другие отправились за тростником, третьи расстлали на земле для ночлега верблюжьей и медвежьей шкуры. Начальник отряда, не обращая более внимания на лежавшего на земле, расстегнул свой пояс и растянулся на бурке подле костра. Это был еще очень молодой человек, стройный, черноволосый, очень красивый, с худощавым лицом и выдающимся орлиным носом. В глазах его читались храбрость и самоуверенность, но лицо дышало благородством. Густые усы и, как видно, давно не бритая борода придавали ему солидный не по летам вид.

Двое слуг занялись приготовлением ужина: положили на огонь уже готовые бараньи туши, сняли с лошадей несколько глухарей и бекасов, застреленных еще днем. Костер ярко пылал, освещая степь красным светом.

Человек, лежавший на земле, понемногу начал приходить в себя. Некоторое время он водил налитыми кровью глазами по незнакомым ему лицам, присматриваясь к ним; потом

попытался встать. Солдат, который разговаривал перед этим с начальником отряда, приподнял его под мышки; другой вложил ему в руки бердыш, на который незнакомец тяжело оперся.

Лицо его было красно, жилы на нем вздуты. Наконец он глухим голосом произнес: «Воды». Ему дали водки, которую он жадно пил, и, очевидно, она помогла ему, так как, отняв флягу от рта, он спросил уже чистым голосом:

– В чьих я руках?

Начальник отряда встал и подошел к нему.

– В руках своих спасителей.

– Значит, это не вы накинули на меня аркан?

– Наше оружие сабля, а не аркан. Вы обижаете храбрых солдат, подозревая их в этом. Поймали вас какие-то разбойники, под видом татар, и, если желаете, можете ими любоваться, вон они лежат, переколотые как бараны, – с этими словами он указал рукой на несколько трупов, лежавших у подножия холма.

– В таком случае, позвольте мне отдохнуть, – сказал незнакомец. Ему подложили войлочное седло, на которое он сел, погрузившись в глубокое молчание. Это был человек в полном расцвете сил, среднего роста, широкоплечий, богатырского сложения, с резкими чертами лица. У него была огромная голова, загорелое и немного увядшее лицо с черными, слегка раскосыми, как у татарина, глазами. Лицо его, украшенное тонкими длинными усами, выражало отвагу и гордость. В лице его было что-то привлекательное и вместе с тем отталкивающее – смесь гетманской важности с татарской хитростью, добродушия с дикостью.

Посидев немного на седле, он встал и, к всеобщему изумлению, не поблагодарив свои спасителей, молча пошел разглядывать трупы.

– Невежа! – проворчал начальник отряда. Незнакомец между тем внимательно всматривался в лицо каждого убитого, кивая при этом головой, как человек, догадка которого оправдалась. Потом он медленно повернулся к начальнику, держась за бока и нащупывая пояс, за который, очевидно, хотел засунуть руки.

Начальнику отряда не понравилось поведение этого человека, которого они минуту назад избавили от петли, и он с иронией сказал ему.

– Можно подумать, что вы ищите знакомых между этими разбойниками или же читаете молитву за упокой их души!

Незнакомец спокойно ответил:

– Вы и ошибаетесь, и в то же время правы. Правы потому, что я действительно искал между ними знакомых, и ошибаетесь, так как это не разбойники, а слуги одного шляхтича, моего соседа.

– Как видно, вы не дружите с этим соседом.

Странная усмешка промелькнула по тонким губам незнакомца.

– И тут вы ошибаетесь, – пробормотал он сквозь зубы. Через минуту он громко прибавил:

– Однако, простите меня, что я сначала не принес вам должной благодарности за спасение и помощь, которые избавили меня от неожиданной смерти. Ваша храбрость спасла меня от результатов неосторожности, с какой я отделился от своих людей, но моя благодарность может сравниться только с вашей готовностью оказывать помощь, – и с этим он протянул начальнику руку. Но гордый юноша не тронулся с места и не торопился протянуть свою.

– Прежде всего я хотел бы знать, с кем имею дело, – сказал он, – и хотя не сомневаюсь, что вы шляхтич, но тем не менее мне не подобает принимать благодарности от неизвестных.

– В вас видна рыцарская гордость, но вы правы. Я должен с самого начала сказать вам кто я. Я – Зиновий Абданк, шляхтич киевского воеводства, полковник казацкого полка князя Доминика Заславского.

– А я – Ян Скшетуский, начальник панцирного полка князя Иеремии Вишневецкого.

– Вы служите под начальством славного воина. Теперь примите же мою благодарность и протяните мне вашу руку.

Начальник не колебался больше. Хотя офицеры панцирных полков свысока смотрели на офицеров других отрядов, но Скшетуский был теперь в степи, в Диких Полях, где на подобные вещи не обращают особенного внимания. К тому же он имел дело с полковником, в чем сейчас же убедился, когда его солдаты принесли Абданку вместе с поясом и саблей, которые сняли с него, чтобы привести в чувство, короткую булаву с костяной рукояткой, какие обыкновенно носили казацкие полковники. Притом у Зиновия Абданка была богатая одежда, а речь его свидетельствовала об уме и светскости. Скшетуский пригласил его в свою компанию. От костра неся, щекоча ноздри и небо, запах жареного мяса, которое слуга снял с огня и подал на блюде. Начался ужин, а когда принесли большой бурдюк молдавского вина, завязалась оживленная беседа.

– За счастливое возвращение домой! – воскликнул Скшетуский.

– Значит, вы идете в обратный путь? Откуда? – спросил Абданк.

– Издалека, из Крыма.

– А что вы там делали? Ездили с выкупом?

– Нет, полковник; я ездил к самому хану. Абданк наострил уши.

– Зачем же вы ездили к хану?

– С письмом князя Иеремии.

– О, значит, вам поручили важную миссию. О чем же князь писал хану?

Скшетуский бросил быстрый взгляд на собеседника.

– Полковник, – сказал он, – вы рассматривали лица убитых разбойников – это было ваше дело; но что писал князь хану – это не ваше и не мое дело, а только их двоих.

– Минуту назад, – хитро ответил Абданк, – я удивлялся, что князь выбрал послом к хану такого молодого человека, но после вашего ответа вижу, что вы, хотя и молоды годами, но опытни умом.

Скшетуский принял как должное эту похвалу и спросил;

– А скажите мне, что вы делаете на Омельнике и каким образом очутились здесь один?

– Я не один: я оставил своих людей недалеко отсюда; а еду я в Кудак, к Гродицкому, к которому послан с письмом от гетмана.

– Почему же вы не едете водой?

– Таков был приказ, который я должен исполнить.

– Странно, что гетман дал такой приказ; в степи вы подвергались опасности, которой можно было бы избежать, если бы вы поехали водой.

– В степи теперь спокойно. Я давно знаю здешние места, а причиной того, что случилось со мной, была людская злоба.

– Кто же это так преследует вас?

– Долго рассказывать. У меня есть сосед, который хочет завладеть моим имением, а теперь, как вы видели, еще и сжить меня со свету.

– А разве вы не носите саблю?

Энергичное лицо Абданка исказилось ненавистью, глаза его мрачно загорелись, и он медленно и с расстановкой ответил:

– Ношу и надеюсь, что, с Божией помощью, не буду искать другого средства защиты от врагов.

Поручик хотел что-то ответить, как вдруг в степи раздался конский топот или, вернее, быстрое шлепанье лошадиных копыт по размякшей земле.

В ту же минуту к поручику подбежал стоявший на страже солдат и сказал, что к ним приближаются какие-то люди.

– Это, верно, мои, – заметил Абданк, – я их оставил за Тасьминой и обещал дожидаться здесь.

Через минуту всадники окружили холм. При свете огня были видны головы лошадей, фыркавших от усталости, а над ними склоненные фигуры всадников, которые внимательно всматривались в стоявших у костра.

– Что вы за люди? – спросил Абданк.

– Рабы Божий! – ответили голоса из темноты.

– Да, это мои молодцы, – повторил Абданк, обращаясь к поручику.

Несколько человек сошли с лошадей и подошли к огню.

– А мы спешили, спешили, батько! Что с тобою?

– Засада была. Разбойник Хвёдько узнал, что я буду тут, и ждал меня. Должно быть, он выехал намного раньше меня. На меня накинули аркан.

– Спаси Бог! Спаси Бог! А что это за лях возле тебя?

С этими словами прибывшие грозно посмотрели на Скшетуского и его товарищей.

– Это – друзья, – ответил Абданк. – Слава Богу, я жив и невредим. Сейчас поедем дальше.

– Слава Богу! Мы готовы.

Вновь прибывшие начали отогревать над огнем руки, так как ночь была хоть и ясная, но холодная.

Их было человек сорок; все они были рослые и хорошо вооруженные, но совсем не походили на регулярных казаков, что удивило Скшетуского, тем более что их было немало.

Все это возбудило в Скшетуском сильное подозрение. Если бы гетман послал Абданка в Кудак он дал бы ему стражу из регулярных казаков; да и с какой стати он бы велел ему возвращаться из Чигорина степью, а не водой?

Переправа через реки, протекавшие по Диким Полям к Днепру, мота только замедлить ход. Похоже было, что Абданк хотел обойти Кудак. Даже самая личность Абданка удивляла молодого человека: Он сейчас же заметил, что казаки, вообще обходившиеся со своими начальниками довольно свободно, к Абданку относились с необыкновенным почтением, точно к гетману. Должно быть, это был какой-нибудь известный воин, что тем более поражало Скшетуского, так как зная вдоль и поперек Украину по обе стороны Днепра, он ничего не слышал об Абданка.

В лице этого последнего было что-то особенное – какая-то скрытая мощь, непреклонная воля, видно было, что человека этого никто и ничто не может остановить. То же выражение лица было и у князя Иеремии Вишневецкого, но то, что в князе было врожденным даром природы, свойственным его высокому происхождению и власти, казалось удивительным в неизвестном человеке, блуждающем в глухой степи.

Скшетуский долго раздумывал над этим. Ему казалось, что это или важный преступник скрывающийся в Диких Полях от преследования властей, или же предводитель шайки разбойников; но последнее предположение он отбросил как неправдоподобное; и одежда, и речь этого человека доказывали противное. Начальник отряда не знал, что предпринять, и держался настороже.

Абданк велел подать себе коня.

– Господин начальник – сказал он, – кому в дорогу, тому пора. Позвольте еще раз поблагодарить вас за спасение. Дай Бог, чтобы я смог отплатить вам такой же услугой.

– Я не знал, кого спасаю, стало быть, и не заслуживаю благодарности.

– Это в вас говорит скромность, равная вашей храбрости. Примите же от меня этот перстень.

Скшетуский сдвинул брови и, отступив на шаг, смерил взглядом Абданка, который отечески продолжал:

– Взгляните на него; замечателен этот перстень не богатством, а другими свойствами. В молодости, когда я был в неволе у басурманов, я получил его от странника, возвращавшегося из Святой Земли. В нем заключена земля с Гроба Господня, и от такого подарка нельзя отказываться, если б даже пришлось его взять из рук осужденного. Вы человек молодой и воин, а если даже старость не знает, что с нею может случиться в последний час, то что говорить о молодости, которую еще ждет впереди жизнь, в течение которой могут случиться разные приключения. Перстень этот защитит и сохранит вас от беды, когда придет День Суда, а я говорю вам, что день этот уже близок...

Наступило минутное молчание; слышалось только потрескивание пламени и фыркание лошадей. Из далекого очерета долетал жалобный вой волков. Вдруг Абданк, как бы про себя, повторил еще раз:

– День Суда уже начинается в Диких Полях, а когда он совсем настанет – удивится весь Божий свет!

Скшетуский машинально взял перстень, удивленный словами этого странного человека. Последний некоторое время задумчиво смотрел в степную даль, потом медленно повернулся и сел на коня. Казаки поджидали его у подножия холма.

– В путь, в путь! Будь здоров, друже, – обратился он к Скшетускому – теперь такое время, что брат не доверяет брату, а ты все-таки не знаешь, кого ты спас, так как я не сказал тебе своего имени.

– Разве вы не Абданк?

– Это мой родовой герб.

– А имя?

– Богдан Зиновий Хмельницкий.

И с этими словами он съехал с холма, а за ним и его люди. Вскоре туман и темнота ночи скрыли их, и только ветер издали доносил слова казацкой песни:

«Ой вызволи, Боже, нас всех, бидных невольников,  
З тяжкой неволи, з виры басурманской  
На ясни зори, на тыхи воды,  
У фэй весельй, у мир хрещенный  
Выслухай, Боже, у просьбах наших,  
У нещасных молитвах,  
Нас, бидных невольников»...

Голоса постепенно затихали, сливаясь с дуновением шумящего тростников ветра.

## Глава II

На следующий день утром, приехав в Чигирин, Скшетуский остановился в доме князя Иеремии Вишневецкого. Он намеревался остаться здесь некоторое время, чтоб дать возможность своим людям и лошадям отдохнуть после долгого перехода из Крыма, который пришлось совершить сухим путем, так как на Днепре было такое сильное течение, что ни одно судно не могло идти вверх по Днепру. Отдохнув, Скшетуский отправился к Зацвилюховскому, бывшему комиссару Польши, который, хотя и не служил у князя, но пользовался его доверием и дружбой. Скшетуский хотел узнать, нет ли каких приказаний из Лубен. Князь, однако, не сделал никаких особых распоряжений, приказал только Скшетускому, в случае благоприятного ответа от хана, возвращаться не торопясь, чтобы не утомлять людей и лошадей. Дело с ханом заключалось в следующем: князь требовал от хана наказания нескольких татарских мирз, которые совершили набег на заднепровские владения князя и которых он, впрочем, строго наказал сам. Хан действительно дал благоприятный ответ он обещал прислать в апреле особого посла и наказать непослушных и, желая расположить в свою пользу князя, послал ему с Скшетуским чистокровного коня и соболью шапку. Скшетуский, с честью исполнив возложенное на него посольство, уже само по себе служившее ясным доказательством княжеской милости, обрадовался позволению остаться на некоторое время в Чигирине и не торопиться с возвращением. Старик Зацвилюховский был сильно озабочен тем, что с некоторых пор творилось в Чигирине; они вместе отправились к валаху Допуло, содержателю постоялого двора и виноторговли, и, несмотря на ранний час, застали там целую толпу шляхтичей. День был базарный, а кроме того в Чигирин пригнали скот, который отправлялся в лагерь коронных войск; людей поэтому собралось множество. Шляхта собиралась обыкновенно на рынке, в так называемом «Звонарном Углу» у Допуло. Были тут и арендаторы Конецпольских, и Чигиринские чиновники, и владельцы соседних земель, пользующиеся привилегиями, и вольная шляхта, служащие разных экономии, несколько казацких старшин и мелкая шляхта, приехавшая из своих хуторов. Присутствующие уселись на скамьи, стоявшие вокруг длинных дубовых столов, и громко говорили о побеге Хмельницкого, который был в данный момент главным событием в городе.

Скшетуский сел с Зацвилюховским в углу, отдельно от других, и стал его расспрашивать, кто этот Хмельницкий, о котором все говорят.

– Неужели ты не знаешь, – ответил старый воин. – Это писарь запорожского войска, владелец Субботова, – прибавил он тише, – мой кум. Мы давно знаем друг друга и бывали в разных переделках, в особенности под Цецорой. Такого опытного и знающего дело воина, может быть, нет во всей Польше. Об этом нельзя громко говорить – но это настоящий гетман: казаки слушают его больше, чем кошевых и атаманов; человек этот не лишен хороших черт, но горд и беспокоен, а когда им овладевает ненависть – он может быть ужасным.

– Что же случилось, что он ушел из Чигирина?

– Говорят, он поссорился со старостой Чаплинским, но это вздор! Они, конечно, делали друг другу неприятности, но они не первые и не последние. Говорят, что он отбил жену у старосты: староста отнял у него возлюбленную и женился на ней, а тот потом вскружил ей голову. Это весьма возможно – женщины ведь ветрены. Но это только предлог; тут скрываются иные цели. Видишь ли, в чем дело: в Черкассах живет старый Барабаш, казацкий полковник, наш приятель. У него были какие-то привилегии и королевские грамоты, в которых будто бы восстанавливали казаков против шляхты, но так как это очень добрый человек, то он и держал их у себя, никому не показывая. Хмельницкий пригласил его к себе на пир, во время которого послал к нему на хутор своих людей, а те отняли у его жены все привилегии и грамоты – и вот теперь он исчез с ними. Досадно, если ими воспользуется какая-нибудь шайка вроде Острицкой, так как, повторяю, это опасный человек, а где он теперь – неизвестно!

– Вот лиса! Как ловко он провел меня! – воскликнул Скшетуский. – Он назвался казацким полковником князя Доминика Заславского. Ведь сегодня ночью я встретил его в степи и спас от петли.

Зацвилюховский схватился за голову.

– Ради Бога, что ты говоришь! Не может быть?

– Очевидно, может, если было. Он назвался полковником князя Доминика Заславского и сказал, что послан гетманом в Кудак к Гродицкому, но я не поверил ему уже потому, что он ехал степью, а не водою.

– Он хитер, как Улисс! Где же ты встретил его?

– Около Омельника, на правой стороне Днепра. Он, по-видимому, направился в Сечь.

– И хотел обойти Кудак Теперь я понимаю. А много было с ним людей?

– Человек сорок. Но его люди слишком поздно приехали, и если бы не мои молодцы, слуги старосты задушили бы его.

– Подожди-ка. Ты говоришь, слуги старосты?

– Это он мне сам сказал.

– Откуда же староста мог узнать, где он, если все в городе ломают себе головы над тем, куда он мог скрыться?

– Этого я не знаю. Может быть, Хмельницкий солгал, выдав обыкновенных разбойников за слуг старосты, чтобы тем больше усилить нанесенные ему обиды.

– Не может быть. Однако, это удивительно! А знаешь ли ты, что гетман дал приказ задержать Хмельницкого?

Скшетуский не успел ничего ответить, так как в эту самую минуту в комнату вошел со страшным шумом какой-то шляхтич. Хлопнув два раза дверью и гордо оглядев присутствующих, он крикнул:

– Бью челом вашей милости!

Это был человек лет сорока, небольшого роста, с дерзким выражением лица, с живыми и выпуклыми, как сливы, глазами; видно было, что натура у него горячая и вспыльчивая. Не получив сейчас же ответа, он громко и раздраженно повторил:

– Бью челом вашей милости.

– Бьем и мы, бьем и мы! – отозвалось несколько голосов Это был Чаплинский, Чигиринский подстароста и доверенный молодого хорунжего Конецпольского.

В Чигирине его не любили, так как он был ябедником и забиякой, но побаивались и потому обращались осторожно. Он же уважал только Зацвилюховского, как, впрочем, и все, за его благородство и мужество. Увидев его, он сейчас же подошел к нему и, поклонившись довольно гордо Скшетускому, подсел к ним со своей кружкой меда.

– А что, – спросил его Зацвилюховский, – не знаете ли вы, что случилось с Хмельницким?

– Повешен. Это так же верно, как то, что я Чаплинский; если его еще не повесили, то скоро повесят. Теперь, когда вышел приказ гетмана, пускай-ка он попадетса мне в руки! – и с этими словами он так ударил кулаком по столу, что расплескал вино в стаканах.

– Сударь, не разливайте вина! – сказал Скшетуский.

– Откуда же вы возьмете его? Ведь он убежал и никто не знает, где он? – прервал Зацвилюховский.

– Никто не знает? Я знаю, не будь я Чаплинский! Вы знаете Хведько? Этот Хведько служит ему и мне и будет для него Иудой. Он сговорился с молодцами Хмельницкого; это ловкий человек и следит за каждым его шагом. Хведько взялся доставить его мне живым или мертвым. Он выехал в степь раньше Хмельницкого и знает, где его найти. А проклятый! – и, говоря это, он снова ударил по столу.

– Не разливайте вина! – с ударением повторил Скшетуский, с первого же взгляда почувствовавший к этому человеку какую-то странную антипатию.

Шляхтич покраснел, сверкнул своими выпуклыми глазами и дерзко посмотрел на Скшетуского, желая затеять ссору, но, увидев на нем мундир полка Вишневецкого, сдержался. Хотя хорунжий Конецпольский и не ладил с князем, все-таки было небезопасно задевать его воинов, так как Чигирин был недалеко от Лубен, к тому же князь выбирал себе таких людей, которых все боялись задевать.

– Значит, это Хведько взялся доставить вам Хмельницкого? – снова спросил Зацвилюховский.

– Да. И доставит, не будь я Чаплинский!

– А я вам говорю, что не доставит. Хмельницкий ушел от засады и отправился в Сечь, о чем сегодня же надо уведомить Краковского. С Хмельницким шутки плохи Короче говоря – он и умнее, и сильнее, и счастливее тебя, хоть ты и горяч. Повторяю тебе, Хмельницкий благополучно уехал, а если не веришь – спроси этого поручика, который подтвердит тебе, что видел его вчера в степи живым и невредимым.

– Этого не может быть! Не может быть! – закричал Чаплинский, хватаясь за голову.

– Этого мало, – продолжал Зацвилюховский, – он же и спас его, перебив ваших слуг, несмотря на приказ гетмана, в чем он, однако, не виноват, так как возвращался из Крыма и ничего не знал о приказе, а увидев в стели одинокого человека и думая, что на него напали разбойники, пришел к нему на помощь. Я заранее предупреждал вас о спасении Хмельницкого, так что весьма возможно, что он с запорожцами может навестить вас, и, вероятно, вы не будете ему рады, так как слишком уж насолили друг другу!

Зацвилюховский тоже не любил Чаплинского. Чаплинский вскочил с места и от злости не мог говорить; лицо его совсем побагровело, а глаза чуть не вылезли на лоб. Став перед Скшетуским, он отрывисто проговорил:

– Как же это? Несмотря на приказ гетмана? Я вас... я вас...

Скшетуский же продолжал сидеть и, облокотясь на стол, смотрел на подпрыгивающего Чаплинского, как сокол на связанного воробья.

– Чего это вы прицепились ко мне, как репей к собачьему хвосту? – спросил он.

– Я вас с собой... несмотря на гетманский указ... Я вас с казаками...

Он так кричал, что присутствующие немного притихли; все повернули головы в сторону Чаплинского.

Он всегда искал случая завести ссору с каждым, кого только встречая – такова уж была его натура, но всех удивило, что он начал теперь эту ссору при Зацвилюховском, которого он одного только и боялся а главное, затеял ее с поручиком Вишневецкого.

– Замолчите же, – сказал старый хорунжий, – этот рыцарь пришел со мной.

– Я, я поведу его в суд, на пытку! – кричал Чаплинский, не обращая уже ни на кого внимания.

Скшетуский выпрямился во весь свой рост и не вынимая из ножен сабли, висевшей сбоку на длинном ремне, схватил ее за середину и поднял вверх так, что эфес ее очутился под самым носом Чаплинского.

– Понюхайте-ка это! – холодно сказал он.

– Бей, кто в Бога верует... люди! – крикнул Чаплинский, хватаясь за саблю; но не успел он вытащить ее из ножен, как молодой поручик уже схватил его одной рукой за шиворот, а другой – ниже спины, поднял вверх и понес к дверям.

– Господа, дайте дорогу рогатому, не то забодает! – сказал он.

С этими словами он подошел к двери, ударил Чаплинского об нее лбом и выкинул на улицу, а затем спокойно сел на свое прежнее место, возле Зацвилюховского. В комнате настала минутная тишина. Сила, только что выказанная Скшетуским, произвела благоприятное впечатление на собравшуюся шляхту, и через минуту все стены задрожали от хохота.

– Да здравствуют Вишневецкие! – кричали одни.

– Он без чувств и весь в крови! – кричали другие, с любопытством выглядывая за дверь и ожидая, что будет делать Чаплинский. – Слуги поднимают его.

Только незначительные числом сторонники шляхтича молчали и, не имея мужества вступить за него, угрюмо поглядывали на Скшетуского.

– Он, кажется, собирается рехнуться, – сказал Зацвилюховский.

– Вы правы, – сказал, подходя к ним, толстый шляхтич с бельмом на глазу и с дырой на лбу, величиною с талер, в которую виднелась кость. – Позвольте мне, – продолжал он, обращаясь к Скшетускому, – выразить вам мое почтение: Ян Заглоба, герба «В челе», о чем, впрочем, каждый может догадаться хотя бы по этой дыре, которую мне пробила разбойничья пуля когда я ходил на поклонение в Святую землю – замаливать грехи молодости.

– Перестаньте, – сказал Зацвилюховский, – ведь вы когда-то говорили, что вам расшибли голову в Радоме кружкой.

– Клянусь, разбойничья пуля! В Радоме было совсем другое.

– Может быть, вы и давали обещание пойти в Святую землю, но что вы там были – это неправда.

– Не был, потому что уже в Галате принял мученический венец. Если я лгу, то я не шляхтич, а собака.

– А все-таки брешете.

– Позвольте выпить за ваше здоровье!

За ним подошли к Скшетускому и другие, чтобы познакомиться с ним и выразить свое одобрение, так как Чаплинского не любили и все радовались, что с ним случилась такая оказия. Странная и непонятная вещь, но почему-то чигиринская и окрестная шляхта, мелкие помещики, управляющие экономиями и даже слуги Конецпольских – все, знай, как обыкновенно знают соседи, о раздоре Чаплинского с Хмельницким, были на стороне последнего.

Хмельницкий пользовался славой знаменитого воина, отличившегося ввремя разных войн; знали также, что даже сам король вступал с ним в сношения и высоко ценил его ум. На все случившееся смотрели как на самую обыкновенную ссору между шляхтичами, а таких ссор было тысячи. Поэтому все держали сторону того, кто умел приобрести себе более расположения, не подозревая, какие страшные последствия будет иметь эта ссора. Только позднее сердца шляхты и духовенства, как католического, так и православного, запылали ненавистью к Хмельницкому.

Все подходили к Скшетускому с кружками в руках, говоря: «Пей, брат! Выпей и со мной! Да здравствуют Вишневецкие! Такой молодой, а уже поручик у князя!».

– Виват князь Иеремия, гетман над гетманами!

– С князем Иеремией мы пойдем на край света! На татар! На турок! В Стамбул! Да здравствует король Владислав IV! – громче всех кричал Заглоба, который один был в состоянии перепить и перекричать целый полк.

– Господа! – орал он так, что в окнах звенели стекла. – Я уж притянул к суду султана за насилие, которое он позволил себе надо мной в Галате!

– Не говорите Бог знает чего, не то совсем истреплется ваш язык.

– Как так?

– Вы крикливый глухарь.

– Пойду хотя бы в суд!

– Перестаньте же!

– Я объявляю его лишенным чести, а потом – война, но уже война как с бесчестным! За ваше здоровье, господа!

Многие смеялись, а с ними смеялся и Скшетуский, у которого немного шумело в голове. Шляхтич же продолжал токовать, как старый глухарь, упиваясь собственным голосом. К сча-

стью, речь его прервал другой шляхтич, который, подойдя к нему и дернув его за рукав, сказал с певучим литовским акцентом:

- Познакомьте же и меня, пан Заглоба, с поручиком Скшетуским.
- С удовольствием, с удовольствием. Господин поручик, это пан Повсинога<sup>1</sup>.
- Подбипента, – поправил шляхтич.
- Все равно! Герба «Сорви шаровары».
- «Сорвиголова», – поправил шляхтич.
- Все равно! Из Собачьих Кишок.
- Из Мышиных Кишок, – поправил шляхтич.

– Все равно. Не знаю, что бы я предпочел – собачьи или мышиные кишки. Знаю только, что не желал бы жить ни в тех, ни в других, потому что там и поместиться трудно и выходить оттуда неприлично. Господин поручик, – продолжал он – обращаясь к Скшетускому и указывая рукой на литвина, – вот уже целая неделя, как я пью вино за счет этого шляхтича, у которого меч так же тяжел, как его кошелек; а кошелек его так же тяжел, как и его остроты; но если я когда-нибудь пил вино за счет большего чудака, то я позволю назвать себя таким же олухом, как и тот, кто покупает мне вино.

- Вот так отделал! – кричали, смеясь, шляхтичи.

Но литвин не сердился, а только махал рукой, добродушно улыбаясь и говоря:

- Перестаньте, гадко слушать.

Скшетуский с любопытством смотрел на этого шляхтича, который действительно заслуживал названия чудака. Это был человек такого высокого роста, что доставал головой до потолка, а от чрезмерной худобы казался еще выше. Широкие плечи и жилистая шея свидетельствовали о необыкновенной силе, хотя весь он был кожа да кости. Живот его был так втянут, будто его морили голодом. Одет он был в серую куртку из свебодинского сукна с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, которые вошли тогда в употребление на Литве. Широкий и туго набитый лосиный пояс не держался на нем, а падал почти до самых бедер: к поясу этому был привешен меч такой длины, что даже этому гиганту упирался под мышку. Но всякий, кто испугался бы меча, тотчас же успокоился бы, взглянув на лицо его владельца. Лицо его, отличавшееся такой же худобой, как и тело, украшенное нависшими бровями и большими усами конопляного цвета, имело добродушное и открытое, как у ребенка, выражение. Нависшие брови и усы придавали ему озабоченный, печальный и в то же время смешной вид.

Он походил на человека, которым все верховодят, но Скшетускому он понравился с первого же взгляда именно своим честным выражением лица и отличной военной выправкой.

- Господин поручик, – сказал он, – вы от князя Вишневецкого?

– Да.

Литвин сложил руки, как бы для молитвы, и поднял глаза вверх.

- Ах, какой это великий воин, какой рыцарь, какой предводитель!

– Дай Бог нашей родине побольше таких.

- Конечно, конечно. А нельзя ли мне поступить к нему на службу?

– Он будет очень рад.

– Тогда у князя прибавится еще два рожна: один вы, другой – ваш меч; а может быть, он будет вешать на вас разбойников или же мерить вами сукно на знамена! Тьфу! И как это вам не стыдно – вы ведь человек и католик, а длинны как змея или как басурманское копьё!

- Противно слушать. – спокойно сказал литвин.

– Как же вас зовут? – спросил Скшетуский. – Извините меня, но я ничего не понял, потому что пан Заглоба все время прерывал вас.

- Подбипента.

---

<sup>1</sup> Бродяга.

– Песьянога.

– Сорвиголова из Мышекишек.

– Вот так потеха! Хоть я и пью его вино, но будь я дурак, если это не басурманские имена.

– Давно вы из Литвы? – спросил Скшетуский.

– Вот уже две недели, как я в Чигирине. Узнав от господина Зацвилюховского, что вы должны приехать сюда, я ждал вас, чтобы с вашей помощью обратиться к князю со своей просьбой.

– Позвольте мне полюбопытствовать – отчего вы носите меч, как у палача?

– Это, господин поручик, меч крестоносцев, а не палача, а ношу я его потому, что он добыт на войне и давно принадлежит нашему роду. Он уже сослужил службу в литовских руках, под Хойницами – вот поэтому и ношу его.

– Однако это большая штука и, должно быть, страшно тяжелая! Его, наверное, надо держать двумя руками?

– Можно и двумя, можно и одной.

– Покажите-ка.

Литвин снял меч и подал его Скшетускому, но у того сразу отвисла рука, и он не мог свободно ни опустить меч, ни замахнуться им. Тогда он взял его обеими руками, но все-таки ему было тяжело.

Скшетуский немного сконфузился и, обратясь к присутствующим, спросил:

– А кто, господа, может сделать им крест?

– Мы уже пробовали, – ответило несколько голосов, – Один только комиссар Зацвилюховский может поднять его, но креста и он не сделает.

– Ну а вы? – спросил Скшетуский, обращаясь к литвину. Шляхтич поднял меч, как трость, и совершенно свободно помахал им в воздухе, так что по комнате пошел ветер.

– Ну и сила же у вас! – вскричал Скшетуский. – Вы можете смело рассчитывать на службу у князя.

– Видит Бог, как я ее жажду. Надеюсь, что меч мой не заржавеет.

– Но зато остроумие окончательно, – сказал Заглоба, – так как вы не умеете так же ловко острить, как обращаться с мечом.

Зацвилюховский встал и уже собирался уходить вместе с Скшетуским, как в комнату вошел белый как лунь старик, который, увидев Зацвилюховского, сказал:

– Господин хорунжий! Я нарочно пришел сюда к вам... Это был Барабаш, полковник черкасский.

– Так пойдем же ко мне на квартиру, потому что тут уже идет дым коромыслом, так что не видно света.

Они вышли вместе с Скшетуским.

Как только они переступили порог, Барабаш спросил:

– Нет ли известий о Хмельницком?

– Есть. Убежал в Сечь. Вот этот офицер встретил его вчера в степи.

– Значит, он не поехал водой? А я послал в Кудак гонца, чтобы его поймали, но если так, то напрасно.

И с этими словами Барабаш закрыл руками глаза.

– Спаси Христос, спаси Христос! – повторял он.

– Чего вы тревожитесь?

– Ведь вы знаете, что он обманом вытащил у меня документы! А знаете вы, что значит опубликовать их в Сечи? Спаси Христос! Если король не начнет войны с басурманами – это искра, брошенная в порох!

– Вы предсказываете бунт?

– Не предсказываю, а говорю наверное! Хмельницкий будет почище Наливайки и Лободы.

– Да кто пойдет за ним?

– Кто? Запорожцы, казаки, мещане, чернь, хуторяне – и вот эти.

И Барабаш указал на площадь и снующих по ней людей.

Вся площадь была запружена большими серыми волами, которых гнали в Корсунь для войска, а с ними шли их пастухи, так называемые чабаны, проводившие всю свою жизнь в степях и пустынях, – совсем одичавшие, без всякой религии, как говорил воевода Кисел.

Между ними попадались люди скорее похожие на разбойников, чем на пастухов, свирепые, одетые в какие-то лохмотья. Большая часть их была одета в бараньи тулупы или шкуры шерстью вверх. Все были вооружены самым разнообразным оружием: у одних за плечами торчали луки и колчаны, у других были самопалы (по-казацки – пищали), татарские сабли, у других косы, а у иных даже палки с привязанными на концах лошадиными челюстями. Между ними вертелись низовцы, такие же дикие, но несколько лучше вооруженные; они везли на продажу сушеную рыбу, дичь и баранье сало; чумаки с солью, степные и лесные пасечники, воскобой с медом, лесники с дегтем и смолой, крестьяне с подводами, реестровые казаки, татары из Белгорода и разные бродяги со всех концов света. Весь город был полон пьяных, так как в Чигирине был ночлег, а следовательно, и гулянка. На рынке раскладывали огонь, кое-где горели бочки со смолой. Отовсюду неслись шум и крики. Оглушительный звук татарских дудок и бубнов сливался с мычанием скота и мягкими звуками лир, под аккомпанемент которых слепцы пели любимую песню того времени:

Соколе ясный,  
Брате мий ридный.  
Ты высоко летаешь,  
Ты далеко выдаешь.

А рядом раздавались крики пьяных, вымазанных дегтем казаков, плясавших на рынке трепака. Зацвилюховскому достаточно было одного взгляда на эту дикую, разнузданную толпу, чтобы убедиться в том, что Барабаш был прав, говоря, что достаточно малейшего толчка, чтобы поднять эту толпу, привыкшую к разбоям и насилию. А за этой толпой стояли еще Сечь и Запорожье, недавно только обузданное и нетерпеливо грызущее надетые на него удила, еще полное воспоминаний о прежней вольности, ненавидящее комиссаров и составляющее организованную силу. На стороне этой силы были также симпатии крестьянских масс, менее терпеливых, чем в других частях Польши, так как по соседству был Чертомелик, где царствовали безначалие, разбой и свобода.

И хорунжий, хотя сам малоросс и ревностный приверженец православия, грустно задумался. Он хорошо помнил времена Наливайки, Лободы и Кремского; знал украинское разбойничанье, может быть, лучше всех на Руси, а также, хорошо зная Хмельницкого, понимал, что тот один стоил двадцати Лобод и Наливаек. Он ясно понял теперь всю опасность побега Хмельницкого в Сечь, в особенности с королевскими грамотами, о которых говорил Барабаш и которые будто бы подзадоривали казаков к сопротивлению.

– Господин полковник, – сказал он Барабашу, – вам бы следовало поехать в Сечь, чтобы ослабить влияние Хмельницкого и умиротворить его.

– Господин хорунжий, – возразил Барабаш, – я могу вам сказать только одно: как только распространилась весть о побеге Хмельницкого, половина моих людей сегодня ночью ушла за ним в Сечь. Мое время прошло – мне остается теперь могила, а не булава.

Барабаш действительно был хороший солдат, но уже старый, и притом не имел никакого влияния на массу. Тем временем они дошли до квартиры Зацвилюховского; старый хорунжий немного успокоился, а когда они принялись за мед он уже веселее сказал:

– Все это вздор, если, как ходят слухи, будет война с басурманами, а она, кажется, будет. Хотя Польша не хочет войны, а сеймы попортили королю немало крови, но он все-таки может поставить на своем. Тогда весь этот пыл можно было бы обратить на турок; во всяком случае, у нас еще остается достаточно времени. Я сам поеду к Краковскому, расскажу ему все и попрошу, чтобы он как можно ближе подошел к нам со своим войском. Не знаю только, добьюсь ли я чего, потому что хотя он и мужественный и опытный воин, но страшно упрям. Вы, господин полковник, держите в руках своих казаков, а вы, поручик, как только приедете в Лубны, предостерегите князя и обратите его внимание на Сечь. Если б даже они и хотели что-нибудь начать, то, повторяю, у нас еще есть время. В Сечи теперь мало людей; все разошлись: кто за рыбой, кто за зверем, а кто по деревням Украины. А пока они все соберутся, в Днепре утечет много воды. К тому же одно имя князя внушает им страх, а если они узнают, что он зорко наблюдает за Чертомеликом, то, может быть, будут сидеть смиренно.

– Я могу выступить из Чигирина хоть через два дня, – сказал Скшетуский.

– Отлично. Два или три дня ничего не значат. А вы, полковник, пошлите гонцов к коронному хорунжему и князю Доминику. Э! Да вы, я вижу, уже спите? – обратился он к полковнику.

Действительно, Барабаш, сложа руки, крепко спала через минуту начал даже храпеть. Старый полковник, если не ел и не пил, что, между прочим, любил больше всего, то спал.

– Посмотрите, – тихо сказал Зацвилюховский, обращаясь к Скшетускому, – варшавяне хотят, чтобы такой старик удерживал казаков! Бог с ними! Они доверяли и самому Хмельницкому, а канцлер вступал даже с ним в какие-то договоры, и мне кажется, что он жестоко накажет их за это доверие.

Скшетуский сочувственно вздохнул. Барабаш только сильнее всхрипнул и пробормотал во сне:

– Спаси Христос, спаси Христос!

– Когда же вы думаете выехать из Чигирина? – спросил хорунжий Скшетуского.

– Я подожду еще дня два, так как, вероятно, Чаплинский потребует от меня удовлетворения.

– Не потребует! Он скорее подослал бы своих слуг, если бы вы не принадлежали к полку Вишневецкого; а задевать князя опасно даже служащему Конецпольских.

– Я ему дал знать, что жду его, а дня через два уеду. А с саблей и своими людьми я не боюсь засады.

С этими словами Скшетуский простился со старым хорунжим и вышел.

Над городом стояло такое яркое зарево от зажженных на рынке костров, что можно было подумать, будто горит весь Чигирин; а шум и крики с наступлением ночи усилились еще больше. Евреи боялись выйти из своих жилищ. В одном углу толпа чабанов завывала печальные степные песни; в другом около огня плясали полудикие запорожцы, подбрасывая вверх шапки, куря и распивая кружками водку. То тут, то там начиналась драка, которую прекращали слуги старосты. Скшетуский должен был прокладывать себе дорогу рукоятью сабли; прислушиваясь к шуму и крику, он испытывал такое впечатление, точно это уже начинается бунт. Ему казалось, что он уже видит направленные на него грозные взгляды и слышит тихие проклятия. В ушах его еще раздавались слова Барабаша: «Спаси Христе, спаси Христе», и сердце его учащенно билось.

А тем временем чабаны пели все громче и громче, запорожцы стреляли из самопалов и уже не пили, а прямо купались в водке.

Стрельба и дикие крики долетали до ушей Скшетуского даже тогда, когда он пришел домой и лег спать.

## Глава III

Несколько дней спустя отряд Скшетуского быстро продвигался к Лубнам. Переправившись через Днепр, отряд пошел широкой степной дорогой, которая соединяла Чигорин с Лубнами и проходила через Жуки, Семь Могил и Хорол. Такая же дорога шла от княжеской столицы в Киев.

В прежние времена, до похода гетмана Жолкевского под Солоницу, дорог этих не существовало; из Лубен в Киев ездили степью и пущей; до Чигирина – водой, обратно же через Хорол. Вообще же заднепровское княжество – древняя половецкая земля – было пустынно, мало заселено и часто подвергалось нападениям татар и запорожцев.

Над берегами Сулы шумели огромное; почти девственные, леса; местами на берегах Супы, Слепорода, Коровая, Псела и других рек образовались болота, частью заросшие густым кустарником, частью открытые в виде лугов. В этих местах и болотах находили себе приют всевозможные звери; в глубине лесных чащ жили косматые туры, медведи, дикие кабаны, целые стаи волков, много рысей, куниц, стада серн и диких коз, а в болотах и на берегах рек водились бобры, о которых в Запорожье ходили слухи, что между «ими попадаются белые как снег столетние старцы. По высоким сухим степям носились табуны диких коней с лохматыми гривами и налитыми кровью глазами. Реки кишели рыбой и водяной птицей.

Удивительна была эта земля, находившаяся в каком-то полусне и носившая следы прежней человеческой жизни, всюду виднелись руины прежних городов; самые Лубны и Хорол были основаны на таких же развалинах; всюду виднелись остатки могил, уже заросших лесом. И тут, как и в Диких Полях, ходили по ночам духи и летали упыри, а старые запорожцы рассказывали иногда, какие удивительные вещи творились в лесной чаще, откуда часто слышался вой неведомых зверей, крики не то людей, не то животных страшный шум, словно там происходила какая-то битва или охота. Под водой раздавался колокольный звон затонувших городов. Земля эта была негостеприимна и малодоступна, местами слишком болотиста, местами же, наоборот, страдала от недостатка воды. Небезопасна была она и для жилья, так как людей, решившихся поселиться там, уничтожали татары, часто совершавшие туда набеги. Являлись сюда одни только запорожцы для ловли бобров и других зверей и рыб; в мирное же время почти все казаки из Сечи уходили на промысел в леса, болота, тростники, занимаясь иногда ловлей в таких местах, о существовании которых знали только они одни. Однако же оседлая жизнь пробовала укорениться здесь, – так растение, которое постоянно вырывают, снова пускает свои корни.

И вот мало-помалу в пустыне появлялись города, усадьбы, колонии, слободы и хутора. Земля здесь была очень плодородна и манила своей свободой. Но жизнь расцвела там только тогда, когда эти земли перешли к князьям Вишневецким Князь Михаил, женившись на Могилянке, принял за устройство своих заднепровских владений; он созывал людей, заселял пустоши, обещая льготы на тридцать лет, строил монастыри и вводил свой суд и законы. Даже такие поселенцы, которые жили здесь с незапамятных времен и имели собственную землю, охотно платили ему подати, так как за это они пользовались княжеской защитой, охранявшей их от татар и еще худших низовцев. Но настоящий расцвет начался только при молодом князе Иеремии, который железной рукой управлял своими владениями, начинавшимися за Чигирином и кончавшимися только под Конотопом и Ромнами. Земли эти не составляли всех его владений, потому что ему еще принадлежали земли в воеводствах водынском, русском и киевском, но заднепровские владения были любимым детищем победителя под Пужовлем. Татары уже не осмеливались совершать набегов на его земли, низовцы тоже присмирели; жившие здесь прежде беспокойные ватаги пошли к нему на службу, а обузданный дикий, разбойный люд,

живший прежде грабежом и набегами, мирно занимал теперь полянки на рубежах и, сидя, на границах княжеских владений, как сторожевой пес, грозил неприятелю.

Все ожило и зашевелилось; были проложены новые дороги; на реках устроены плотины, над которыми работали взятые в плен татары-низовцы, пойманные где-нибудь на разбое. И там, где прежде в тростниках дико шумел ветер да по ночам выли волки, теперь работали мельницы. На одном только Заднепровье работало более четырехсот жерновов, не считая ветряных мельниц. Сорок тысяч мелких арендаторов вносили арендную плату в княжескую казну, в лесах появились пасеки, на рубежах – новые деревни, слободы и хутора. В степи рядом с дикими табунами паслись стада лошадей и домашнего скота. Однообразный вид лесов и степей нарушался появившимися хатами, золочеными верхушками церквей и костелов – пустыня превратилась в населенный край.

Скшетуский ехал не торопясь, словно по собственной земле; он был весели чувствовал себя в полной безопасности.

Это было еще только начало января 1648 года, но в воздухе уже веяло весной; земля оттаяла, и на полях показалась зелень; солнце же в полдень жгло, точно летам. Отряд Скшетуского значительно увеличился, так как в Чигорине к нему присоединилось валахское посольство, которое господарь отправлял в Лубны, в лице Розвана Урсы. При посольстве были эскорт из нескольких каралашей и челядь. Кроме того, с поручиком ехали знакомый уже нам Лонгин Подбипента, Сорвиголова, со своим длинным мечом и несколько человек прислуги.

Солнце, чудная погода и веяние приближающейся весны наполняли радостью сердца, а поручику было тем более весело, что он возвращался после долгого путешествия под княжеский кров, который также считал и своим. Хорошо исполнив все возложенные на него поручения, он был уверен в теплом приеме. Но причиной его веселости было и нечто другое. Кроме милостей князя, которого он любил всей душой, в Лубнах его еще ждали чьи-то черные глазки.

Глазки эти принадлежали Анусе Барзобогатой-Красенской, фрейлине княгини Призельды, самой красивой девушке при дворе, страшной кокетке, по которой страдали все в Лубнах и которая оставалась ко всем равнодушной. У княгини Гризельды был суровый нрав, и при дворе ее господствовали очень строгие правила, что не мешало, однако, молодежи перекидываться между собою пламенными взорами и вздыхать.

Скшетуский вздыхал наравне с другими, но так как он был человек веселый, и притом любящий свое дело, то не принимал слишком близко к сердцу того, что Ануся так же мило улыбалась ему, как и Быховцу из валахского полка, артиллеристу Вурцлю, драгуну Володыевскому и даже гусару Барановскому, который был угреват и шепелявил. Скшетуский раз даже дрался за Анусю на саблях с Володыевским; но когда ему приходилось слишком долго сидеть в Лубнах в ожидании какого-нибудь похода, то он скучал и при ней; а когда приходилось выступать – уезжал охотно, без всякого сожаления. Зато он радостно возвращался. Вот и теперь он весело напевал и гарцевал на своем коне. Рядом с кем ехал Лонгин на огромной инфляндской кобыле, всегда печальный и угрюмый. Посольские повозки, каралаши и свита тянулись далеко сзади.

– Посол лежит на возу, как брeю», и постоянно спит, – сказал Скшетуский – Каких только чудес не наговорил он мне о своей Валахии! А мне было любопытно. Послушать его, так это страшно богатый край, и климат там отличный и множество золота, вина и скота. Вот я и подумал: ведь наш князь по материнской линии имеет право на господарский престол. Впрочем, для наших панов Валахия не новость. Они уже били там и турок, и татар, и валахов, и семиградцев.

– Народ там слабее нашего, – сказал Лонгин, – мне об этом говорил Заглоба в Чигирине, а если бы даже я и не верил ему, то подтверждение его слов можно найти в молитвеннике.

– Как это, в молитвеннике?

– У меня есть такой молитвенник, я его всегда ношу с собой и могу вам показать.

С этими словами он достал маленькую книжку, переплетенную в пергамент, набожно поцеловал ее и, перевернув несколько страниц, сказал:

– Читайте.

Скшетуский начал читать:

– «Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица»... Где же тут о валахах, что вы говорили?

– Читайте дальше.

– «Не отвергай молений наших. Заступница».

– Дальше, дальше.

– «...дабы мы удостоились милостей Господа Нашего, Иисуса Христа. Аминь».

– Ну а теперь вопрос... Скшетуский прочел:

– Вопрос: почему валахская кавалерия называется легкой? Ответ потому что легко обращается в бегство... Аминь. Гм!.. Правда! Однако ж странная эта книга!

– Это солдатская книжка: тут вместе с молитвами помещены еще и военные правила; из нее можно также узнать, какая нация лучше, какая хуже. А что касается валахов, то здесь говорится, что они трусы, и притом изменники.

– Что изменники, это верно. Это подтверждает случай с князем Михаилом. Я тоже слышал, что солдаты они неважные. У нашего князя есть валахский полк, в котором служит поручик Быховец, но вряд ли в нем найдется хоть двадцать валахов.

– А как вы думаете, поручик, много у князя людей под ружьем?

– Тысяч восемь, не считая казаков, что живут в полянках. Но мне говорил Зацвипиховский, что теперь производится новый набор!

– Так князь, может быть, выступит в поход?

– Говорят, что готовится большая война с турками и что против них выступит сам король со всей военной силой Польши. Знаю также, что решено не посылать подарков татарам и что они от страха не смеют тронуться с места. Я слышал это еще в Крыму, где меня потому и принимали с таким нечеток что там носится слух, будто, когда король двинется с гетманами, князь ударит на Крым и уничтожит татар. Наверное, это дело не доверят никому другому.

– Пошли, милосердый Боже, святую войну во славу христианства и нашего народа! – сказал Лонгин, подняв вверх глаза и руки, – мне же, грешному, дозволь выполнить мой обет и найти утешение или же славную смерть!

– Так вы дали обет?

– Такому достойному рыцарю я открою все тайны души моей, хоть это мне и трудно; но раз вы так охотно слушаете, то я вам все расскажу. Вы знаете, что мой родовой герб «Сорвиголова» происходит от предка моего Стowejко-Тюдбипенты, который, будучи под Грюнвальдом, увидел трех рыцарей в монашеских капюшонах, ехавших в ряд, и всем трем отрубил сразу головы, в старых летописях с большой похвалой говорится об этом славном подвиге моего предка.

– У вашего предка, видно, рука была не легче вашей, недаром прозвали его Сорвиголовой.

– За этот подвиг король дал ему герб, в котором находятся три козьи головы на серебряном фоне, в память об этих рыцарях, так как головы эти были изображены на их щитах. Герб вместе с этим мечом предок мой Стowejко-Подбипента передал своим потомкам, завещая им поддерживать честь его рода и меча.

– Что и говорить, вы знатного рода!

Лонгин опять тяжело вздохнул и продолжал:

– Будучи последним в роде, я дал обет Пресвятой Богородице жить в целомудрии и не жениться до тех пор, пока, по примеру моего предка Стowejки-Подбипенты, я не срублю вот этим самым мечом трех голов одним ударом. Милосердный Боже! Ты видишь, я сделал все,

что было в моей власти: и целомудрие сохранил, и велел замолкнуть чувствительному сердцу, и дрался на войне, но мне не удалось исполнить свой обет.

– Так и не срубили трех голов? – спросил поручик, усмехаясь про себя.

– Нет, не удалось! Не посчастливилось! По две сразу бывало, а – три – никогда. Ведь нельзя же было просить врагов, чтобы они сами становились по три в ряд. Один Бог видит мою печаль; есть у меня и сила, и богатство, но молодость уже проходит. Мне скоро стукнет сорок пять лет... Сердце просит любви, род мой гибнет, а трех голов все нет как нет! И какой я Сорвиголова, одно только посмешище для людей, как говорил Заглоба! Но все это я переношу терпеливо.

Литвин снова начал жалобно вздыхать, так что даже и лошадь его зафыркала и захрапела, очевидно, из сочувствия к своему господину.

– Одно могу только сказать, – ответил Скшетуский, – что если вам не посчастливится и на службе у князя Иеремии, то, вероятно, уже нигде.

– Дай Бог! Я потому и еду искать счастья на службе у князя, – возразил Лонгин.

Дальнейшая их беседа была прервана страшным шумом птичьих крыльев. Как уже было сказано выше, птицы в эту зиму не улетали за море; а так как зима была очень теплая и реки не замерзали, то везде была масса пернатых, в особенности на болотах. В эту самую минуту, когда поручик с Лонгином подъезжали к берегу Каганлыка, над головами их прошумела целая стая журавлей, летевших так низко, что в них можно было попасть палкой. Стая эта летела со страшным криком и вместо того, чтобы спуститься в тростник, неожиданно поднялась вверх.

– Они так летят, точно кто-то их гонит, – сказал Скшетуский.

– А вон, посмотрите, – сказал Лонгин, указывая на белую птицу, которая, рассекая воздух, старалась подлететь к стае.

– Сокол! Это он мешает им опуститься в тростник! – воскликнул Скшетуский. – У посла есть соколы, и он, должно быть, пустил одного из них.

В эту минуту к ним рысью подъехал Розван Урсу на черном породистом анатолийском скакуне в сопровождении нескольких каралашей.

– Господин поручик! – воскликнул он. – Мы немного позабавимся.

– Это ваш сокол?

– Да, мой. Славный сокол, вы увидите сами.

Все трое поскакали вперед, а за ними сокольничий с кольцом, который, не спуская с птицы глаз, кричал что было мочи, подзадоривая сокола к борьбе. Последний уже заставил журавлиную стаю подняться вверх, а сам, как молния, взвился еще выше и повис над ней. Журавли сбились в одну кучу, шумя крыльями и оглашая воздух испуганными криками. Вытянув шеи и подняв вверх клювы, точно копья, они приготовились к атаке. А сокол кружился над ними, то поднимаясь, то опускаясь и как бы раздумывая – опускаться ли вниз, где его ждет целая сотня острых клювов. Его белые перья, ярко освещенные солнцем, блестели в лазури неба, как серебро.

Но вдруг, вместо того чтобы броситься на стаю, он стрелой помчался вперед и вскоре исчез из виду. Скшетуский первый поскакал за ним; посол, его сокольничий и Лонгин последовали его примеру. На повороте поручик осадил коня, его глазам представилось необыкновенное зрелище. Среди дороги лежала коляска со сломанной осью; отряженных лошадей держали два казачка, кучера совсем не было видно, он, очевидно, поехал за помощью. Около коляски стояли две женщины, одна в лисьей шубе и такой же круглой шапке, с суровым, почти мужским лицом, другая – молодая девушка высокого роста с благородными и правильными чертами лица. На плече ее спокойно сидел сокол и, распушив на груди перья, чистил их клювом.

Скшетуский так сильно осадил своего коня, что тот копытами врылся в землю. Приложив руку к козырьку шапки, он от смущения не знал что сказать: то ли поздороваться, то ли спро-

сильно о соколе. Смуглили же его, главным образом, глаза, смотревшие из под куньей шапочки; таких глаз он еще никогда не видел: черные, бархатные, с поволокой и огненные, они казались двумя звездочками, в сравнении с которыми глаза Ануси Барзобогатой меркли, как свеча перед факелом. Над этими глазами вырисовывались бархатные черные брови; румяные щеки рдели как маков цвет, из-за открытых малиновых губок виднелись белые, как жемчуг, зубы, а из-под шапочки выбивались густые черные косы. «Уж не сама ли это Юнона или какая-нибудь другая богиня?» – подумал поручик, глядя на высокую стройную красавицу и белого сокола на ее плече.

Скшетуский стоял без шапки, заглядевшись на это чудное видение; глаза его светились, и ему казалось, будто кто-то хватается за сердце рукой. Он уже приготовился было сказать: «Если ты обыкновенная смертная, а не божество, то...» – но в эту самую минуту подъехал посол с Лонгином, а за ним и сокольник с кольцом. Увидев их, молодая девушка подставила соколу свою руку, на которую он, сойдя с плеча, сейчас же уселся, переминаясь с ноги на ногу. Поручик хотел предупредить сокольничего и снять птицу, как вдруг произошло что-то странное. Сокол, оставив одну ногу на руке молодой девушки, другой схватил за руку поручика и, вместо того чтобы пересесть к нему, начал радостно кричать и так сильно тянуть его за руку, что Скшетуский поневоле должен был прикоснуться к руке молодой девушки. Дрожь пробежала по его телу. Сокол же только тогда позволил снять себя, когда сокольник прикрыл ему голову колпаком.

– Рыцари, – обратилась к ним старшая из дам, – кто бы вы ни были, я думаю, вы не откажетесь помочь женщинам, с которыми случилось несчастье в дороге и которые не знают, что им делать. До дому нам осталось не больше трех миль, но у коляски лопнула ось, и нам, пожалуй, придется ночевать в поле; я послала кучера к своим сыновьям за какой-нибудь повозкой, но пока он доедет и вернется, будет уже темно; оставаться же в поле, да еще вблизи могил, страшно.

Старуха говорила так быстро и таким грубым голосом, что Скшетуский удивился, но тем не менее вежливо ответил:

– Не допускайте даже мысли, чтобы мы могли оставить вас и вашу дочь без помощи. Мы служим у князя Иеремии Вишневецкого, и, кажется, наш путь лежит в ту же сторону, что и ваш, но если бы даже нам было не по пути, мы охотно свернули бы в сторону, лишь бы только наше присутствие не наскучило вам. Что же касается экипажей, то лично у меня их нет, так как мы едем по-военному, верхом, но они найдутся у посла, и я надеюсь, что он, как вежливый кавалер, охотно уступит вам их.

Посол приподнял свою соболью шапку, так как знал польский язык и понял, в чем дело. Сказав дамам комплимент, как воспитанный боярин, он приказал затем сокольничему скакать к повозкам, которые значительно отстали, и как можно скорее привезти их. Скшетуский все время не спускал глаз с молодой девушки, которая не могла вынести его пламенного взгляда и опустила вниз свои глаза; а дама с казацкой наружностью продолжала:

– Да вознаградит вас Бог за вашу помощь! А так как до Лубен вам предстоит еще далекий путь, то не побрезгуйте гостеприимством нашим. Мы из Разлог-Сиромах; я вдова князя Курцевича-Бульги, а это не моя дочь, а дочь старшего Курцевича, который оставил свою сироту на наше попечение. Мои сыновья теперь дома; я же возвращаюсь из Черкасс, куда ездила на поклонение Пресвятой Богородице. И вот на обратном пути и случилось с нами это несчастье, и, если бы не ваша любезность, нам, пожалуй, пришлось бы ночевать в степи.

Княгиня долго еще продолжала бы говорить, если бы в эту минуту не показались быстро едущие повозки, сопровождаемые посольскими каралашами и солдатами Скшетуского.

– Так вы вдова князя Василия Курцевича? – спросил поручик.

– Нет! – возразила княгиня быстро и как бы с досадой. – Я вдова Константина, а это дочь Василия, – прибавила она, указывая на молодую девушку.

– О князе Василии много говорили в Лубнах Он был хороший воин и пользовался доверием покойного князя Михаила.

– В Лубнах я не была, – надменно сказала княгиня, – и о военных заслугах его ничего не знаю; что же касается его позднейших поступков, то о них нечего вспоминать: они и без того всем хорошо известны.

При этих словах княжна Елена опустила на грудь головку, как срезанный косой цветок.

– Не говорите так, княгиня, – живо возразил поручик, – князь Василий только по ошибке людского правосудия был приговорен к лишению жизни и чести, поэтому он и должен был спастись бегством; впоследствии же невинность его обнаружилась, и ему возвращено и честное имя и слава; а слава его тем выше, чем сильнее он был обижен.

Княгиня быстро взглянула на поручика, и на ее суровом, неприятном лице ясно отразился гнев. Но в Скшетуском, несмотря на его молодость, было видно столько рыцарской отваги, что она не решилась возражать ему, а только, обратившись к девушке, сказала:

– Тут тебе нечего слушать. Иди и посмотри, чтобы были переложены все вещи из коляски в повозку, которую нам предложили эти господа.

– Позвольте помочь вам, княжна, – сказал поручик.

Они пошли вместе к коляске и стали по обеим сторонам ее: княжна приподняла свои шелковые ресницы и устремила на поручика взор, ясный, как солнечный луч.

– Как мне благодарить вас, – заговорила она, и звук ее голоса показался поручику настоящей музыкой, – как благодарить за то, что вы вступились за честь моего отца и восстали против несправедливости, с какой относятся к нему даже ближайшие его родственники.

– Княжна, – ответил Скшетуский, чувствуя, что сердце его совсем растаяло, – за вашу благодарность я готов пойти хоть в огонь или же пролить всю мою кровь; но как ни велико мое желание получить ее, заслуга моя так невелика, что я не достоин получить благодарность из ваших уст.

– Вы пренебрегаете моей благодарностью, но я бедная сирота и не умею иначе выразить ее.

– Нет, я не пренебрегаю ею, – ответил с возрастающим волнением Скшетуский, – но хочу заслужить ее долгой и верной службой и только прошу вас принять мои услуги.

Услышав это, княжна смутилась, покраснела, потом внезапно побледнела и, закрыв лицо руками, жалобно ответила:

– Такая служба могла бы принести вам только несчастье.

– Принесет она то, что Бог даст; а если бы даже она доставила мне страдания, то я готов у ваших ног молить вас о них.

– Не может быть, чтобы вы, только что увидев меня, почувствовали такое желание служить мне.

– Да, только увидев вас, я забыл самого себя и теперь вижу, что вольному до сих пор воину пришлось попасть в плен; но такова, видно, воля Божия! Страсть, как стрела, неожиданно поражает сердце, и я уже чувствую себя раненым, хотя вчера сам бы не поверил, скажи мне кто-нибудь, что такое возможно.

– Если вы сами не поверили бы вчера, то как я могу поверить этому сегодня?

– Время лучше всего докажет вам это; а в искренности моей вы можете убедиться не только по моим словам, но и по моему лицу.

Шелковые ресницы княжны снова приподнялись, и глаза ее остановились на мужественном, благородном лице молодого воина, во взгляде которого выражалось такое восхищение, что густой румянец покрыл ее личико. Но она не опустила теперь своего взгляда, и Скшетуский упивался ее чудными очами. Так стояли они некоторое время, смотря друг на друга, как два существа, которые, где бы они ни встретились, хотя бы даже и в степи, сразу чувствуют друг к другу симпатию и души которых взаимно стремятся друг к другу, как два голубка.

Резкий голос старой княгини, зовущий Елену, прервал эти минуты восторга. Подъехала повозка; каралаши начали переносить в нее вещи из коляски, и через минуту все было готово.

Розван Урсу, как вежливый господин, уступил свою коляску княгине и княжне. Поручиксел на свою лошадь, и все тронулись в путь.

День уже клонился к вечеру. Разлившиеся воды Каганлыка отливали золотом в лучах заходящего солнца и пурпурной зари. Высоко в небе плыли легкие тучки, которые опускались к краям горизонта и, точно измученные долгим летанием по небу, шли отдыхать в незнакомую колыбель. Скшетуский ехал подле княжны, но уже не занимал ее разговором, потому что говорить с нею так, как говорил несколько минут тому назад, при посторонних он не мог, а другие слова не шли у него с уст. Только сердце его усиленно билось, а в голове шумело, точно от вина.

Кортеж быстро подвигался вперед, и только фырканье лошадей да звон стремян прерывали наступившую тишину. Каралаши на дальних возах затянули унылую валахскую песню, но вскоре умолкли, а вместо нее раздался гнусавый голос Лонгина, который набожно пел канон Богородице. Вскоре кругом все стемнело; на небе засверкали звездочки, а с сырых лугов поднялся белый, как безбрежное море, туман.

Наконец они въехали в лес. Вскоре послышался топот лошадей, и перед ними появились пять всадников. Эти были молодые князья, которые, узнав о случившемся, спешили навстречу матери с повозкой, запряженной четверкой лошадей.

– Это вы, дети? – крикнула старая княгиня.

– Мы, матушка, – отвечали всадники, подъезжая к повозке.

– Здравствуйте! Благодаря этим господам я уже больше не нуждаюсь в помощи. Это вот мои сыновья: Симеон, Юрий, Андрей и Николай. А кто это пятый? – спросила она, внимательно вглядываясь. – Если не ошибаются мои старые глаза, это Богун, правда?

Княжна вдруг быстро откинулась в глубь повозки.

– Здравствуйте, княгиня и княжна Елена! – сказал пятый всадник.

– Ты приехал из полка, Богун? Здравствуй, здравствуй! Ну, дети! Я уже просила этих господ переночевать в Разлогах, а теперь вы еще поклонитесь им и попросите. Гость в дом – Бог в дом! Милости просим к нам, господа!

– Покорнейше просим пожаловать к нам, – сняв шапки, хором сказали сыновья княгини.

– Уж господин посол и господин поручик обещали мне. Сегодня мы принимаем знатных гостей. Не знаю только, понравится ли им наша бедная трапеза, ведь они привыкли к придворному угощению!

– Мы выросли на солдатском хлебе, а не на придворном, – ответил Скшетуский.

А Розван Урсу прибавил:

– Я уже пробовал хлеб-соль в шляхетских усадьбах и знаю, что они не уступают придворным.

Повозки двинулись вперед, а старая княгиня продолжала:

– Давно уж, давно миновали счастливые для нас времена. На Волыни и в Литве есть еще Курцевичи, которые держат отряды и живут по-барски, но они не хотят знать своих бедных родственников, суди их за это Бог! У нас почти казацкая беднота, уж вы извините нас, господа, но примите наше угощение так же искренне, как мы предлагаем его. У меня с пятью сыновьями всего одна деревушка да несколько слобод, да вот на нашем попечении эта барышня.

Поручика удивили эти слова, так как он слышал в Лубнах, что Разлоги – довольно большое имение, принадлежавшее князю Василию, отцу Елены. Однако ему показалось неудобным спросить, каким образом это имение попало в руки Константина и его вдовы.

– Так у вас, княгиня, пятеро сыновей? – спросил Розван Урсу.

– Было пятеро, – отвечала княгиня, – но старшему, – Василию, нехристи выжгли в Белгороде глаза, и он помешался от этого. Когда младшие уходят в поход, то я остаюсь только с ним да вот с этой барышней, с которой больше хлопот, чем потехи.

Презрительный тон, каким старая княгиня говорила о своей племяннице, не мог укрыться от внимания поручика; в груди его закипел гнев, и с языка чуть было не сорвалось проклятье; но слова замерли у него на губах, когда, взглянув на княжну, он увидел при сеете луны ее полные слез глаза.

– Что с вами? Отчего вы плачете? – тихо спросил он.

Княжна молчала.

– Я не могу видеть ваших слез, – сказал Скшетуский, наклоняясь к ней; увидев, что старая княгиня занята разговором с Розваном Урсу и не смотрит в их сторону, он продолжал: – Ради Бога, скажите хоть слово. Видит Бог, что я с радостью отдал бы свою жизнь, чтобы только утешить вас.

Вдруг он почувствовал, что один из всадников так сильно напирал на него, что лошади их начали тереться боками. Разговор с княжной был прерван, а Скшетуский, удивленный и взбешенный, повернулся к смельчаку.

При свете луны он увидел два глаза, смотревшие на него дерзко, вызывающе и вместе с тем насмешливо; страшные глаза светились, как у волка в темную ночь.

«Что за штука, – подумал поручик, – бес это, что ли». Потом, взглянув ближе в эти огненные глаза, он спросил:

– Что это вы напираете на меня конем и не спускаете с меня глаз?

Всадник ничего не ответил, но все так же дерзко и пристально смотрел на Скшетуского.

– Если вам темно, то я могу высечь огня, а если тесно, то – гайда! В степь! – возвысив уже голос, воскликнул поручик.

– А ты отойди от коляски, лях, если видишь, где степь, – возразил всадник.

Поручик вспылал и вместо ответа ударил ногой лошадь противника так сильно, что та заржала и отскочила на другую сторону дороги.

Всадник осадил ее и, казалось, готов был броситься на поручика, но в эту минуту раздался повелительный голос старой княгини:

– Богун! Что с тобой?

Слова эти немедленно оказали свое действие. Всадник, повернув коня, подъехал с другой стороны коляски к старой княгине.

– Что с тобой? – продолжала она – Ты в Разлогах, а не в Переяславле или в Крыму, помни это! А теперь поезжай вперед и укажи повозкам дорогу: тут сейчас будет темный яр.

Скшетуский был удивлен и рассержен. Этот Богун, очевидно, искал с ним ссоры, но почему? Откуда эта неожиданная напасть?

В голове его промелькнула мысль, что в эту игру замешана княжна, а взглянув на нее и увидев, несмотря на сумерки, ее испуганное и бледное, как полотно, лицо, он еще сильнее убедился в этом.

Богун между тем поскакал по приказанию княгини, а она, глядя ему вслед, проговорила не то про себя, не то обращаясь к поручику.

– Вот шальная голова! Точно бес!

– Сумасшедший, как видно, – презрительно ответил Скшетуский. – Этот казак на службе у ваших сыновей?

Старая княгиня откинулась даже в глубь коляски.

– Что вы говорите, – сказала она, – ведь это подполковник Богун, славный воин, друг моих сыновей, а для меня точно шестой сын. Не может быть, чтобы вы ничего не слыхали о нем; его все знают.

Действительно, имя это хорошо было известно Скшетускому оно выделялось между именами казацких полковников и атаманов и по обе стороны Днепра было у всех на устах. Слепцы и казаки пели о нем песни по ярмаркам и корчам, на вечерницах о молодом подполковнике рассказывали чудеса. Но кто он был, откуда взялся – этого никто не знал. Вне всякого сомне-

ния было только то, что родиной его и колыбелью были степь, Днепр, пороги и Чертомелик с его лабиринтом ущелий, скал, островов, яров и тростников. Он вырос в этой дикой стране и слился с нею. В мирное время Богун наравне с другими ходил за рыбой и зверем, бродил по Днепру, болотам и тростникам шесте с полунагими товарищами, иногда же целые месяцы проводил в лесной чаще. Школой ему служили походы на Дикие Поля за татарскими табунами и стадами, засады, битвы и нападения на береговые улусы да набеги на Белград, Валахию или Черное море. Дни он проводил на коне, ночи – в степи у костра. Он стал любимцем всего Низовья, скоро сделался предводителем ватаг и превзошел всех своею отвагой. Богун готов был с одной только сотней идти хоть в Бахчисарай и сжечь его на глазах хана; он сжигал улусы и местечки, вырезал жителей, привязывал мурз к лошадиным хвостам, нападал, как буря, появлялся всюду, как смерть. На море он как бешеный бросался на турецкие галеры, в самую середину Буджака и лез, как говорится, прямо в львиную пасть. Некоторые из его походов были положительно безумны. Менее отважные умирали в Стамбуле на колах или гнили на турецких галерах, а он всегда выходил из воды сухим и с богатой добычей. Говорили, что он собрал несметные сокровища, которые скрывает в днепровских камышах; но не раз видели также, как он грязными ногами топтал золотую парчу, подстилал коням ковры или, одетый в дорогую камку, мазался дегтем, выказывая этим свое казацкое презрение к дорогим тканям и нарядам. Он нигде не оставался подолгу. В своих действиях он руководился обыкновенно только своей прихотью. Приехав в Чигирин, Черкассы или Переяславль, он гулял иногда с запорожцами до полусмерти; иногда же жил как монах, не говоря ни с кем слова и скрываясь в степи. Иногда окружал себя слепцами, по целым дням слушая их игру и пение и осыпая их золотом. Со шляхтой он был настоящим шляхтичем, с казаками – самым диким казаком, с рыцарями – рыцарем, с грабителями – грабителем. Некоторые считали его безумным, и действительно, это была бешеная и необузданная натура. Зачем он жил, к чему стремился и кому служил – он и сам не знал. Служил он степям, ветру, войне, любви и собственной фантазии.

Этим именно он и отличался от всей разбойничьей ватаги, у которой была только одна цепь – грабеж и для которой было все равно, кого грабить: татар или своих. Богун брал добычу, но предпочитал ей войну, любил опасность только ради самой опасности; за песни платил золотом, гнался за славой, но не заботился о последствиях. Из всех предводителей казацких ватаг он один только олицетворял собою тип казака-рыцаря, потому-то он и сделался любимым героем всех песен, а имя его прославилось по всей Украине.

В последнее время он хотя и числился переяславским подполковником, но пользовался полковничьей властью, потому что старый Лобода еле держал булаву в своих ослабевших руках. Скетуский хорошо знал, кто был Богун, а если и спрашивал у старой княгини, не служит ли он у ее сыновей, то сделал это нарочно, чтобы этим выказать свое презрение; несмотря на всю его славу, в поручике закипела кровь при мысли, что этот казак был с ним так дерзок. Он гонимая также, что раз между ними началась вражда; то она не может кончиться пустяками. Притом Скетуский был человек вспыльчивый, страшно самоуверенный, никогда ни перед чем не отступающий и жадный ко всяким приключениям и опасностям. Он готов был хоть сейчас погнаться за Богом, но все-таки по-прежнему ехал возле княжны.

Наконец они миновали яр; вдали показались освещенные окна усадьбы.

## Глава IV

Род Курцевичей-Булыг был старинный княжеский род ведущий свое начало, по всей вероятности, от самого Рюрика. Из двух главных его линий одна жила в Литве, другая – на Волыни. В Заднепровье же впервые поселился князь Василий, один из многочисленных потомков волынской линии, который, будучи беден и не пожелав остаться на хлебах у богатых родственников, поступил на службу к князю Михаилу Вишневецкому, отцу знаменитого князя Иеремии.

На службе этой он своими подвигами приобрел себе славу знаменитого воина, а за оказанные им князю важные услуги последний подарил ему в собственность Красные Разлоги, названные впоследствии Волчьими – от множества волков, наполнявших их окрестности. Здесь-то и поселился окончательно князь Василий. В 1629 году, перейдя в католичество, он женился на Рагозянке, происходившей из знатного шляхетского рода, вышедшего из Валахии.

Год спустя после этой женитьбы у него родилась дочь Елена; мать ее умерла от родов, и князь Василий, не думая о втором браке, всецело отдался хозяйству и воспитанию дочери!

Человек этот обладал громадной силой воли и благородством. Добившись довольно быстро известного положения, он сейчас же вспомнил о своем Старшем брате, Константине, который бедствовал на Волыни и, отвергнутый богатой родней, принужден был сделаться простым арендатором. Он выписал его к себе вместе с женой и пятью сыновьями и делился с ними каждым куском хлеба. Таким образом оба Курцевича спокойно прожили в Разлогах до конца 1634 года, когда Василий ушел под Смоленск с королем Владиславом. Там-то и произошло то несчастное событие, которое было причиной его гибели.

В княжеском отряде было найдено письмо к Шейну, подписанное именем князя и запечатанное его печатью.

Такое явное доказательство измены со стороны воина, пользовавшегося до сих пор незапятнанной репутацией, страшно удивило и поразило всех. Напрасно князь Василий клялся, что это не его почерк и подписи, – герб его печати не допускал никаких сомнений; в потерю же печати, которой князь объяснял все случившееся, никто не хотел верить.

В конце концов несчастный князь, приговоренный к лишению чести и жизни, принужден был спасаться бегством.

Явившись после этого ночью в Разлоги, он умолял своего брата Константина заботиться об Елене, как о своей дочери, а затем навсегда исчез. Говорили, что он писал к князю Иеремии Вишневецкому, прося оставить дочь его в Разлогах под опекой Константина; постепенно слухи о нем замолкли. Говорили, будто он умер, потому что поступил в императорские войска и погиб на войне в Германии, но кто же мог сказать что-нибудь навверное?

По всей вероятности, его уже не было в живых, если он не справлялся о своей дочери. Вскоре о нем перестали говорить и вспомнили только тогда, когда обнаружилась его невиновность. Некто Купцевич, умирая, сознался, что это он написал письмо под Смоленском к Шейну и запечатал его найденной печатью князя Василия. Раскаяние и ужас овладели всеми; приговор был отменен, честное имя князя восстановлено, но для самого невинно пострадавшего награда явилась слишком поздно. Что касается Разлог, то князь Иеремия и не думал их отнимать. Зная Василия лучше других, он никогда не был вполне уверен в его виновности, несмотря на все улики. Василий мог бы даже не бояться приговора и остаться под могущественным покровительством Вишневецкого, а если он ушел, то только потому, что был не в силах перенести свой позор.

Елена спокойно росла в Разлогах, окруженная нежной заботливостью дяди, – и только после его смерти настала для нее тяжелые времена. Жена Константина, взятая им из семьи

сомнительного происхождения, была суровой, вспыльчивой и энергичной женщиной, которую один только муж умел держать в руках. После его смерти она забрала управление Разлогами в свои железные руки.

Слуги и дворовые дрожали перед ней и боялись её как огня, а вскоре она дала себя знать и соседям.

На третьем году своего управления она дважды совершила набег на Сивинских в Броварках, одетая по-мужски, вооруженная, сама предводительствуя своею челядью и наемными казаками. Однажды, когда полки князя Иеремии разгромили толпу татар, разбойничавших около Семи Могил, княгиня во главе своих людей уничтожила окончательно оставшуюся недобитой часть татар, которые, спасаясь от преследований, подошли почти к самым Разлогам. Поселившись в Разлогах, она так привыкла к ним, что в конце концов стала считать их своей собственностью. Она любила сыновей, но так, как волчица любит своих волчат, и, будучи совершенно простой и необразованной, она не думала о том, чтобы дать им приличное воспитание. Православный монах привезенный из Киева, выучил их читать и писать, – этим и ограничилось все их образование. А между тем недалеко были Лубны и княжеский двор, где молодые князья могли бы ознакомиться с светской жизнью, с придворным этикетом и общественными делами или же, поступив в один из княжеских полков, пройти школу рыцарства. Но у княгини были свои причины, по которым она не хотела отдать туда своих детей. А вдруг князь Иеремия вспомнил бы, кому принадлежат Разлоги, и захотел бы следить за опекой над Еленой или же, из уважения к памяти Василия принял бы эту опеку на себя? Тогда, пожалуй, пришлось бы уйти из Разлог, – поэтому-то княгиня предпочитала, чтобы в Лубнах забыли о существовании на свете Курцевичей. Молодые князья воспитывались скорее по-казацки, чем по-дворянски.

Будучи еще мальчиками, они принимал участие во всех набегах старой княгини. Чувствуя врожденное отвращение к книгам и письму, они по целым дням стреляли из луков или же упражнялись с саблей, кистенем и арканами. Они не занимались даже хозяйством, так как мать держала все в своих руках.

Жаль было смотреть на этих потомков знаменитого рода, в жилах которых текла княжеская кровь.

Время шло, они вырастали, как дубы. Сознывая свою невоспитанность, они стыдились шляхты и сношениям с нею предпочитали дружбу с начальниками казацких ватаг. Они знали почти все Низовье, где их считали своими товарищами. Молодые князья иногда по полугоду просиживали в Сечи, ходили с товарищами на промысел, принимали участие в походах на турок и татар, – последнее сделалось, в конце концов, их главным и любимым занятием. Мать не противилась этому, потому что они часто привозили обильную добычу.

Во время одного из таких походов старший из них Василий, попал в руки татар. Братья с помощью Богуна и его запорожцев хоть и отбили его, но уже с выжженными глазами. С тех пор, он был вынужден сидеть дома и, насколько прежде был необузданным и диким, настолько теперь сделался кротким и благочестивым. Младшие же продолжали вести прежнюю жизнь, заслужив прозвище «князей-казаков». Достаточно было взглянуть на Разлоги, чтобы угадать, что за люди живут в них.

Когда посол и Скшетуский въезжали со своими повозками во двор, они увидели не барский дом, а скорее обширный сарай, сбитый из огромных дубовых бревен, с узкими, похожими на бойницы окнами. Помещения для челяди и казаков, конюшни и амбары примыкали непосредственно к дому, образуя неправильную и такую убогую и простую постройку снаружи, что, не будь света в окнах, трудно было бы принять ее за человеческое жилье. Во дворе стояли два колодца, ближе к воротам – столб с кольцом, к которому был привязан ручной медведь. Тяжелые ворота, сделанные из крепких дубовых бревен, вели во двор, окруженный со всех сторон рвом и забором. Видно было, что дом-этот выстроен прочно и хорошо защищен от нападения; он во всех отношениях напоминал собою порубежную казацкую полянку; хотя большинство

шляхетских усадеб были в то время довольно убоги и просты, но Разлоги скорее напоминали собою разбойничье гнездо, чем усадьбу. Челядь, вышедшая с факелами навстречу гостям, была больше похожа на разбойников, чем на прислугу. Огромные дворовые псы гремели своими цепями, как бы желая сорваться с них и броситься на прибывших; из конюшен доносилось ржание лошадей. Молодые князья и княгиня кричали на прислугу, отдавая приказания. Среди такого шума гости вошли в дом. Розван Урсу, увидев наружную дикость и бедность, сожалел, что согласился остаться здесь на ночь; но, войдя в дом, он был поражен, потому что внутреннее убранство этого дома нисколько не соответствовало его наружному виду. Прежде всего, они вошли в просторную комнату, стены которой почти сплошь были завешаны сбруей, оружием и звериными шкурами. В двух огромных печах горели дрова, и при ярком их свете можно было разглядеть богатую конскую сбрую, блестящие панцири, турецкие кольчуги, на которых сверкали дорогие камни, проволочные полупанцири с золочеными пуговицами, дорогую стальную броню, польские и турецкие шлемы и шишаки. На противоположной стене висели щиты, уже вышедшие в то время из употребления, рядом с ними – польские копья и татарские дротики, много оружия, начиная от сабли и кончая ятаганами и кинжалами, с рукоятками, усыпанными драгоценными камнями, блестящими, как звездочки. По углам висели лисьи, волчьи, медвежьи, куньи и горностаевые шкуры – охотничьи трофеи молодых князей. Ниже, по стенам, дремали на кольцах ястребы, соколы и огромные беркуты, привезенные из далеких восточных степей и употребляемые для охоты на волков.

Из этой комнаты гости вошли в большую приемную. И тут также в камине ярко горел огонь. Эта комната была убрана с еще большей роскошью. Стены были обиты дорогими тканями, на полу разостланы чудесные восточные ковры. Посредине стоял длинный стол, сколоченный из простых досок, а на нем – кубки, золотые и из венецианского стекла. У стен стояли столы поменьше, комоды и полки, а на них погребцы, ящики, бронзовые и медные подсвечники, часы, отнятые турками у венецианцев и, в свою очередь, у турок казаками. Вся комната была завалена предметами роскоши, употребление которых даже не было известно их хозяевам; всюду роскошь эта мешалась с простотой; дорогие турецкие комоды, отделанные бронзой, черным деревом и перламутром, стояли рядом с неотесанными полками; простые деревянные стулья – возле мягких диванов, покрытых коврами. Подушки, лежавшие по восточному обычаю на диванах, были покрыты парчой и шелком, но редко которая была набита волосом, большей частью – сеном или гороховой соломой. Все эти дорогие ткани и предметы роскоши частью были куплены за бесценок у казаков, частью же приобретены на войне еще старым князем Василием и молодыми князьями, предпочитавшими странствование на чайках по Черному морю женитьбе и хозяйству. Все это нисколько не удивляло Скшетуского, хорошо знакомого с украинскими обычаями, но зато валах недоумевал, видя, что, несмотря на всю окружающую их роскошь, князья Курцевичи одеты в простые сапоги и кожухи нисколько не лучше тех, какие носила прислуга; недоумевал и Подбилента, привыкший у себя на Литве к иным порядкам.

Молодые князья между тем радушно приглашали гостей, но делали все это так неумело, что Скшетуский еле мог удержаться от смеха.

– Мы очень рады вам, господа, и благодарим за милость, – говорил старший, Симеон. – Дом наш – ваш дом, будьте как у себя. Низко кланяемся вам.

Хоть в тоне его слов и не было никакой принужденности и он, как видно, считал себя нисколько не ниже своих гостей, но он кланялся им по-казацки – в пояс, а за ним кланялись и младшие братья, думая, что этого требует приличие и гостеприимство.

– Бьем вам челом, – повторяли они.

Княгиня тем временем, дернув Богуна за рукав, вывела его в соседнюю комнату.

– Послушай, Богун, – торопливо сказала она, – мне некогда теперь долго говорить с тобой. Я вижу только, что тебе пришлось не по сердцу молодой шляхтич и что ты ищешь с ним ссоры.

– Мать, – отвечал казак, целуя руку старухи, – свет широк, ему одна дорога, мне другая. Я его знать не знаю, пусть только он не суется к княжне, не то я заставлю его отведать моей сабли.

– Ты ошалел, что ли? Где у тебя голова, казаче? Что с тобой случилось? Ты хочешь, верно, погубить и нас и себя? Это воин Вишневецкого, как видно, знатный человек, потому что ездил княжеским послом к хану. Знаешь ли ты, что будет, если упадет хоть один волосок с его головы в нашем доме? Воевода отомстит за него; выгонит нас на все четыре стороны, а Елену увезет в Лубны. Что тогда будет? С ним ты не сцепишься и не пойдешь на Лубны. Попробуй-ка, если хочешь, попасть на кол. Пусть себе шляхтич позабавится: он как приехал, так и уедет, и опять все будет спокойно. Сдерживайся, а если не можешь, то ступай откуда пришел, а то ты натворишь нам беды.

Казак сердито грыз усы, но понял, что княгиня была права.

– Они завтра уедут, – сказал он, – и я постараюсь сдержаться пусть только княжна не выходит к ним.

– А тебе что? Чтобы они подумали, что я держу ее взаперти? Она выйдет, потому что я хочу этого. Ты, пожалуйста, не распоряжайся тут у меня, ты ведь не хозяин.

– Не сердитесь, княгиня! Раз нельзя иначе, то я постараюсь. Я не скажу им ни слова, хоть бы и сгорал от гнева и хоть бы душа моя разрывалась на части. Пусть будет по-вашему.

– Вот так-то лучше, сокол! Возьми-ка теорбан да спой и сыграй, так и у тебя легче на душе станет. Ну а теперь пойдем к гостям.

Они вернулись в приемную, где князя, не зная, как занять гостей, все еще просили их не стесняться и кланялись в пояс. Скшетуский гордо посмотрел в глаза Богуну, но не заметил в них ни задора, ни вызова. Лицо молодого атамана сияло любезной улыбкой, которая была так искусно подделана, что могла бы обмануть самый опытный глаз. Поручик внимательно присматривался теперь к Богуну, потому что раньше в темноте не мог хорошо разглядеть его. Он увидел теперь стройного, как тополь, молодого человека, со смуглым лицом, украшенным черными густыми усами, и высоким лбом. На лице его сквозь свойственную ему задумчивость проглядывала, как солнце сквозь тучи, веселость.

Орлиный нос с раздутыми ноздрями, белые зубы, сверкавшие при каждой улыбке, придавали ему несколько хищный вид, но в общем это был яркий тип украинской красоты. Богатый и красивый наряд его резко выделялся среди грубых костюмов молодых князей. На нем был жулан из тонкой серебряной парчи и красный контуш, – все переяславские казаки носили обыкновенно красный цвет. Стан его стягивал шелковый пояс, на котором висела дорогая сабля. Но богатый наряд и дорогая сабля были ничто в сравнении с турецким кинжалом, заткнутым за пояс; рукоятка его была сплошь усеяна драгоценными, сыпавшими искры камнями. По платью его можно было принять за высокорожденного барича, а не за простого казака, тем более что его непринужденное обращение ничем не выдавало его низкого происхождения.

Подойдя к Лонгину, он выслушал его рассказ о предке Стowejке и о снятых им трех головах, а потом обратился к поручику и, как будто между ними не произошло ни малейшего недоразумения, совершенно свободно спросил его:

– Я слышал, что вы возвращаетесь из Крыма?

– Да, из Крыма, – сухо ответил поручик.

– Бывал и я там, но до Бахчисарая не доходил; однако думаю, что побываю там, если-только сбудется счастливая весть.

– О какой вести вы говорите?

– Ходят слухи, что, если наш милостивый король начнет войну с турком, то князь пойдет на Крым с огнем и мечом. Вся Украина и все Низовье радуются этому, ведь если мы с таким вождем не погуляем в Бахчисарае, то с другим нечего и думать.

– Погуляем, как Бог свят! – отозвались Курцевичи.

Поручику было приятно слышать, с каким уважением отзывался молодой атаман о князе; он улыбнулся и ответил более приветливым тоном:

– Видно, вам еще мало походов с запорожцами; ведь вы уже и так прославились между ними.

– Небольшая война – небольшая и слава; великая война – и слава великая. Канашевич Сагайдачный прославился ведь не походами на чайках, а битвой под Хотинном.

В эту минуту отворилась дверь и в комнату медленно вошел Василий, старший из Курцевичей, которого вела за руку Елена. Это был человек зрелых лет, бледный и худой, с изнуренным и печальным лицом, напоминающим собою лики византийских святых. На плечи ему падали длинные волосы, поседевшие преждевременно от несчастья и страданий, а вместо глаз у него были две красные впадины; в руках он держал медный крест, которым осенил комнату и всех присутствующих.

– Во имя Отца и Сына, во имя Спасителя и Пресвятой Богородицы! – сказал он. – Если вы апостолы и принесли добрые вести, то будьте благословенны в христианском доме. Аминь!

– Простите, господа, – пробормотала княгиня, – он помешан.

– В апостольских посланиях сказано, – продолжал Василий, осеняя по-прежнему крестом: – «Кто прольет кровь за веру, спасен будет; кто падет за мирские блага, за добычу – будет осужден...» Помолитесь! Горе вам, братья, горе и мне, ибо мы вели войну ради добычи! Боже, буде милостив к нам грешным, буде милостив! А вы, мужи, прибывшие издалека, какие вести несете вы? Апостолы ли вы?

Он умолк и, казалось, ожидал ответа. Скшетуский после минутного молчания ответил:

– Далеко нам до такого высокого призвания. Мы только простые воины, готовые пасть за свою веру.

– Тогда будете спасены, – сказал слепец, – но час избавления для нас еще не настал... Горе вам, братья! Горе мне!

Он почти со стоном произнес последние слова, и на лице его отразилось такое отчаяние, что гости растерялись. Елена усадила его и, выбежав в соседнюю комнату, вернулась через минуту с лютней. В комнате раздались тихие звуки, под аккомпанемент которых княжна запела духовный гимн:

«И днем и ночью молю Тебя, Боже!  
Умерь мои муки и горькие слезы,  
Будь мне отцом милосердным!  
Услышь мою просьбу!»

Слепой откинул назад голову и прислушивался к словам песни, которые действовали на него, как животворный бальзам; с лица его постепенно исчезло выражение муки и ужаса; наконец голова его совсем опустилась на грудь и он впал в полусон, в полуонемение.

– Лишь бы не прерывать пения, так он совсем успокоится и заснет, – тихо сказала княгиня. – Он помешан на апостолах и, как только приедет кто-нибудь, сейчас спрашивает: не апостолы ли?

Елена между тем продолжала петь; ее нежный голос звучал все сильнее и сильнее, и с этой лютней в руках, с этими поднятыми кверху глазами она была так хороша, что поручик не мог оторвать от нее глаз. Заглядевшись на нее, он, казалось, забыл целый свет и очнулся только тогда, когда раздался голос княгини:

– Довольно уж! Теперь он не скоро проснется, а пока – прошу вас, господа, поужинать.

– Просим откусать хлеба-соли! – сказали вслед за матерью молодые князья.

Розван, как светский человек, предложил руку княгине, а Скшетуский, увидев это, сейчас же подошел к княжне. Сердце его растаяло, как воск, когда он почувствовал в своей руке ее руку, и глаза его заблестели.

– Наверное, и ангелы в небе не могут петь лучше вас, – сказал он.

– Вы грешите, рыцарь, сравнивая мое пение с ангельским, – ответила Елена.

– Не знаю, грешу ли я, но знаю наверное, что с радостью дал бы выколоть себе глаза, чтобы слушать постоянно ваше пение. Но что я говорю! Тогда бы я не мог видеть вас, а это было бы для меня самым ужасным мучением.

– Не говорите так. Завтра вы уедете отсюда и завтра же, наверное, забудете меня.

– О, этого никогда не будет! Я так полюбил вас, что до конца жизни не хочу знать другой любви и никогда вас не забуду.

Яркий румянец залил лицо княжны, и грудь ее сильнее заволновалась. Она хотела ответить, но губы ее так сильно дрожали, что она не могла вымолвить ни слова.

Скшетуский продолжал:

– Скорее вы забудете меня для этого красавца... Он будет сопровождать вашему пению на своей балалайке.

– Никогда, никогда! – прошептала девушка. – Но берегитесь его: это страшный человек.

– Что для меня значит какой-то казак, хоть бы даже за ним стояла вся Сечь, если я для вас готов решиться на все. Для меня вы единственное бесценное сокровище, мой свет... Только скажите: ответите ли вы мне взаимностью?

Чуть слышное «да» прозвучало в ушах Скшетуского как райская музыка, и ему показалось, что в его груди сразу забилося по меньшей мере десять сердец... Все просияло в его глазах, как бы залитое солнечным светом. Он почувствовал в себе какую-то неведомую ему до сих пор мощь, ему казалось, что у него за плечами выросли крылья.

За ужином перед ним мелькало бледное и страшно изменившееся лицо Богуна, но, уверенный во взаимности Елены, он не обращал на него внимания.

«Пусть не становится мне поперек дороги, потому что я столкну его», – подумал он, и сейчас же мысли его приняли другое направление.

Елена сидела так близко к нему, что он касался своим плечом ее плеча, видел рдевший на ее щеках румянец, волнующуюся грудь и глаза, то скромно опущенные вниз и закрытые ресницами, то сверкающие, как две звезды. Елена, хоть и была запугана суровым обращением старой княгини, все-таки осталась все той же украинкой с пылкой кровью. И как только на нее упал теплый луч любви, она расцвела розой и проснулась для новой, неведомой ей жизни. Лицо ее засияло счастьем и отвагой, и чувства эти, борясь с девичьим стыдом, ярким румянцем окрасили ее щеки. Скшетуский был сам не свой. Он много пил, но мед не действовал на него, потому что он был уже опьянен любовью. За столом он никого не замечал, кроме княжны; не замечал, что Богун бледнел все более и более и то и дело хватался за рукоятку своего кинжала; не замечал, что Лонгин уже третий раз рассказывал о своем предке Сговейке, а Курцевичи – о своих походах за турецким добром. Пили все, кроме Богуна; самый лучший пример подавала старая княгиня: она поднимала кубок и за здоровье гостей, и за здоровье князя, и даже за здоровье господаря Лупула. Зашел также разговор и о слепом Василии, о его прежних рыцарских подвигах и его несчастном походе и помешательстве, которое старший из Курцевичей, Симеон, объяснял следующим образом.

– Вы только подумайте, господа: если маленькая соринка мешает глазу видеть, то как же смола, попав в мозг, не могла омрачить ум.

– Это очень нежный инструмент, – заметил на это Лонгин.

В эту минуту старая княгиня заметила изменившееся лицо Богуна.

– Что с тобой, соколик?

– Душа болит, маты, – ответил он мрачно, – но казацкое слово не дым, надо держать.

– Терпи, сынок! Будет могоарыч!

Ужин кончился, но кубки все еще наполнялись медом. Для большего веселья позвали казачков и заставили их плясать. Зазвучали бубны и балалайки, под которые должны были плясать заспанные мальчуганы; потом и молодые князья пустились впрысядку. Старая княгиня, подбоченившись, тоже начала притопывать, подергивать плечами и подпевать; глядя на нее, и Скшетуский пустился в пляс с Еленой. Обхватив ее руками, он почувствовал себя на седьмом небе. При поворотах длинные косы Елены обвивались вокруг его шеи, точно она хотела навсегда привязать его к себе; он не выдержал и, улучив минуту, когда никто не смотрел на них, наклонился к ней и крепко поцеловал в губы...

Уже поздно ночью, оставшись наедине с Лонгином в комнате, где им была приготовлена постель, он, вместо того чтобы лечь спать, уселся на лавке и сказал:

– Завтра вы поедете в Лубны уже с другим человеком.

Подбипента, только что кончивший молиться, широко раскрыл глаза и спросил:

– Как так! Разве вы здесь остаетесь?

– Не я, а мое сердце останется здесь. Вы видите, в каком я волнении! Я еле могу перевести дух.

– Разве вы так влюбились в княжну?

– Да, я влюблен. Сон бежит от моих глаз, и я могу только вздыхать, – скоро, должно быть, я весь превращусь в пар. Говорю вам это потому, что при вашем чувствительном и жаждущем любви сердце вы хорошо поймете мои страдания.

Тут и Лонгин принялся жалобно вздыхать, очевидно, желая показать, что ему понятны муки любви, а через минуту спросил:

– Может быть, вы тоже дали обет целомудрия?

– О, нет! Если бы все давали такие обеты, то скоро погиб бы весь род человеческий.

Дальнейший разговор их был прерван приходом слуги. Это был старый татарин с быстрыми черными глазами и сморщенным, как сушеное яблоко, лицом. Он бросил на Скшетуского многозначительный взгляд и спросил:

– Не нужно ли чего вашей милости? Может, по кубку меду на сон грядущий?

– Не надо.

Татарин, подойдя к Скшетускому, прошептал:

– Княжна мне велела что-то передать вам.

– А! – радостно воскликнул поручик. – Можешь говорить при нем: у меня от него нет секретов.

Татарин достал из рукава кусок ленты.

– Княжна велела передать вам эту ленту и сказать, что она любит вас всею душою.

Поручик схватил ленту и с восторгом начал целовать ее и прижимать к груди, а потом, немного успокоившись, спросил:

– Что она велела сказать?

– Что любит вас всей душой.

– Вот тебе талер за эту весть, Так она сказала, что любит меня?

– Да.

– На же тебе еще талер. Благослови ее, Боже! Она и мне милее всего на свете. Скажи ей...

Нет, подожди: я сам напишу ей, принеси мне только чернил, перо и бумаги.

– Чего? – спросил татарин.

– Чернил, перо и бумаги.

– Этого у нас в доме нет. При князе Василии было, потом, когда молодые князья учились писать у монаха, – только это уж было давно.

Скшетуский щелкнул пальцами.

– Господин Подбипента, нет ли у вас пера и чернил? Лонгин развел руками и поднял глаза вверх.

– Тьфу, черт возьми! – воскликнул поручик, – вот досада! Татарин тем временем уселся на корточках перед огнем.

– Зачем писать, – сказал он, мешая уголья, – барышня уже спит; а то, что ваша милость хотели писать ей, можно и завтра сказать.

– Если так, то это совсем другое дело. Ты, как я вижу, верный слуга княжны. Вот тебе третий талер. Давно ты служишь?

– Хо-хо! Вот уже четырнадцать лет, как князь Василий взял меня в плен, и с тех пор я верно служил ему. В ту ночь, когда он навсегда уезжал отсюда и оставлял своего ребенка Константину, он сказал мне: «Чеглы, не отходи от девочки и береги ее как зеницу ока».

– Ты так и делаешь?

– Так и делаю, и смотрю.

– Скажи, как живет княжна?

– Злое замышляют против нее! Ее хотят отдать Богуну, этому псу проклятому.

– О, из этого ничего не выйдет! Есть кому заступиться за нее!

– Да, – произнес старик, поправляя головешки. – Они хотят отдать её Богуну, чтобы он взял ее и унес, как волк овечку, а Богун согласен на это; у него по камышам серебра и золота больше, чем в Разлогах песку; но она ненавидит его с тех пор, как он зарубил при ней чеканом человека. Между ними пала кровь, и выросла ненависть! Бог один!

Поручик не мог уснуть в эту ночь; он ходил по комнате, смотрел на луну и строил различные планы. Теперь ему стал понятен расчет Булыг. Если бы на княжне женился какой-нибудь шляхтич, то потребовал бы Разлоги, которые принадлежали ей, а может быть, даже и отчет в опеке. Потому-то они хотели отдать девушку за казака Раздумывая над этим, Скшетуский сжимал кулаки, и рука его невольно искала меча. Он решил разрушить их план и чувствовал себя в силах и вправе сделать это. Раз Разлоги были даны князю Василию князьями Вишневецкими – значит, опека над княжной принадлежала князю Иеремии, тем более что сам князь Василий написал князю Иеремии письмо из Бара, прося принять его дочь под свою опеку. Только страшный наплыв важных общественных дел, войны и большие предприятия помешали князю заняться ею. Но достаточно было одним словом напомнить ему о ней, и справедливость была бы восстановлена.

Уже начало рассветать, когда Скшетуский лег в постель. Он вскоре крепко уснул и проснулся уже с готовым решением. Они с Лонгином поспешно оделись, потому что повозки были готовы, а солдаты Скшетуского уже сидели на конях. Посол завтракал в приемной в обществе Курцевичей и старой княгини; не было только Богуну; и неизвестно было, спал ли он еще или уже уехал.

Подкрепившись, Скшетуский обратился к старухе и сказал:

– Милостивая государыня! Время бежит! Сейчас мы сядем на коней, но прежде чем поблагодарить вас от чистого сердца за ваше гостеприимство, я хотел бы поговорить наедине с вами и вашими сыновьями об одном важном для меня деле.

На лице княгини выразилось удивление; она обвела взглядом сыновей, посла и Лонгина, как бы желая угадать по их лицам, в чем дело, и с некоторой тревогой в голосе ответила:

– Я к вашим услугам.

Посол хотел встать, но княгиня запротестовала и вышла в соседнюю комнату. Молодые князья стояли за матерью шеренгой; последняя обратилась к Скшетускому:

– О каком деле вы хотите говорить с нами?

Поручик устремил на нее быстрый и почти суровый взгляд.

– Простите, княгиня, и вы, молодые князья, – сказал он, – что я поступаю вопреки обычаю и вместо того, чтобы прислать сватов, говорю сам за себя. Но иначе нельзя, а с необходи-

мостью трудно бороться Поэтому я без лишних слов обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой отдать за меня княжну Елену.

Если бы в эту минуту да еще зимой над Разлогами разразился гром, то он меньше удивил бы княгиню и ее сыновей, чем эти слова поручика.

Они несколько минут с недоумением смотрели на Скшетуского, который стоял перед ними, выпрямившись во весь рост, спокойный и гордый, как будто он не просил, а приказывал, и не находили слов для ответа.

Наконец княгиня спросила:

– Как же это? Вы просите отдать вам Елену?

– Да, княгиня, и это мое непоколебимое намерение.

Наступило минутное молчание.

– Я жду ответа, княгиня!

– Простите, – отвечала она придя в себя; голос ее звучал сухо и холодно. – Просьба ваша очень лестна для нас, но исполнить ее невозможно, так как Елена уже обещана другому.

– Подумайте, княгиня, не было ли это против воли княжны и не лучше ли я того, кому она обещана?

– Кто лучше, предоставьте мне судить. Может быть, лучше вас и на свете нет, но мы вас не знаем.

Поручик выпрямился еще горделивее, а взгляд его сверкнул острым и холодным огнем.

– Зато я знаю вас, предатели! – крикнул он. – Вы хотите отдать вашу родственницу холопу, лишь бы только он оставил вас в имении, которым вы незаконно завладели.

– Ты сам предатель! – крикнула княгиня. – Так-то ты платишь за гостеприимство! Вот твоя благодарность! Ах ты, змея! Кто ты такой? Откуда ты взялся?

Молодые Курцевичи начали оглядываться на стены, ища глазами оружия.

– Нехристи! Вы захватили сиротское достояние, но ничего из этого не выйдет. Через день князь уже будет знать обо всем!

Услышав это, княгиня бросилась в угол и, схватив рогатину, направилась с нею к Скшетускому. Князья тоже схватились кто за что: кто за саблю, кто за кистень, а кто за нож и обступили его полукругом, тяжело дыша, точно стая диких бешеных волков.

– Так ты пойдешь к князю! – кричала княгиня. – А уверен ли ты, что выйдешь отсюда живым? А что если это твой последний час?

Скшетуский скрестил на груди руки и глазом не моргнул.

– Я возвращаюсь из Крыма как княжеский посол, – сказал он, – и если здесь прольется хоть одна капля моей крови, то через три дня от этого места не останется даже пепла, а вы все сгниете в лубенских подземельях. Есть ли на свете сила, которая могла бы спасти вас? Не грозите, потому что я не боюсь.

– Мы погибнем, но ты погибнешь прежде нас!

– Так бейте – вот моя грудь!

Княгиня и сыновья ее все время держали оружие направленным в грудь поручика, но словно какая-то невидимая цель сковала им руки. Тяжело дыша, скрежеща зубами, они дрожали в бессильной злобе, однако никто из них не нанес удара Грозное имя Вишневецкого обезоружило их.

Скшетуский был господином положения Бессильный гнев княгини излился в потоке ругательств.

– Прощельга! Мужик! Гольш! Захотелось княжеской крови, но ничего из этого не выйдет! Отдадим ее первому встречному, только не тебе; даже сам князь не может приказать нам отдать ее тебе.

Скшетуский отвечал:

– Хоть теперь и не время хвастаться мне своим дворянством, однако, думаю, что со всем вашим княжеством вы вполне могли бы носить за мной щит и меч. Если для вас был хорош простой казак, то я и подавно... Что касается моего состояния, то оно смело может поспорить с вашим; теперь слушайте, что я вам скажу: отдайте мне Елену, а я вас оставлю в Разлогах и не потребую отчета в опеке.

– Не дари того, что не принадлежит тебе.

– Я не дарю, только обещаю и подтверждаю это обещание рыцарским словом. Теперь выбирайте или представьте князю полный отчет и убраться из Разлог – или отдать мне княжну и оставить себе имение.

Рогатина медленно выскользнула из рук княгини и со стуком упала на землю.

– Выбирайте, – повторил Скшетуский, – или мир, или война.

– Ваше счастье, – уже несколько приветливее сказала княгиня, – что Богун, не желая видеть вас, уехал с соколами на охоту... Иначе не обошлось бы без крови. Он уже вчера подзрел вас...

– Княгиня! И я ношу саблю не для того только, чтобы она болталась на боку.

– Подумайте, поручик хорошо ли вы поступаете, настаивая и пытаясь взять девушку силой, словно из турецкой неволи?

– Что делать, иначе вы бы продали ее мужику.

– Не говорите так о Богуне: хотя он и неизвестных родителей, но все-таки он славный воин. Притом мы знаем его с детства, и для нас он как родной. Отнять у него ату девушку – все равно что резать его.

– Княгиня, мне пора ехать! Простите, если я еще раз скажу вам: выбирайте!

Княгиня обратилась к сыновьям:

– А что! сынки, ответить нам на такую покорную просьбу этого рыцаря?

Князья смотрели друг на друга, подталкивали друг друга локтями, но молчали.

Наконец Симеон пробормотал:

– Велишь бить, маты, будем бить, велишь дать ему девушку – дадим.

– И бить худо, и отдать худо.

Потом, обратясь к Скшетускому, княгиня сказала:

– Вы совсем прижали нас к стене, хоть лопни. Богун – бешеный человек и готов на все. Кто спасет нас от его мести? Он сам погибнет от руки князя, но прежде погубит нас. Что же нам делать?

– Дело ваше...

Княгиня некоторое время молчала.

– Слушайте же, поручик: покамест все это должно остаться втайне. Мы отправим Богуна в Переяславль, а сами с Еленой поедem в Лубны, вы попросите князя, чтобы он прислал нам в Разлоги охрану. У Богуна есть тут недалеко полторака казаков, часть их уже здесь. Вы не можете взять Елену сейчас, потому что он отобьет ее у вас. Иначе нельзя ничего сделать. Поезжайте же, никому не говоря ни слова, и ждите нас.

– Чтобы вы обманули меня?

– Если бы только мы могли! Но не можем, – вы сами видите это. Дайте слово, что пока все будет храниться в секрете.

– Даю, а вы отдадите мне княжну?

– Не можем не отдать, хоть нам и жаль Богуна...

– Стыдитесь, господа, – сказал вдруг Скшетуский, обращаясь к молодым князьям, – вас четверо молодцов, а боитесь одного казака и хотите изменой отделаться от него. Хотя я должен благодарить вас, но все-таки скажу: не пристало поступать так знатной шляхте.

– Прошу вас не вмешиваться в это! – крикнула на него княгиня. – Это вас не касается! Что нам делать? Сколько у вас солдат против полторака казаков? Сможете ли вы защитить

нас? Защитите ли даже эту самую Елену, реши он взять ее силой? Вы уж не беспокойтесь: поезжайте себе в Лубны, а уж мы сами будем знать, что нам делать, лишь бы только мы привезли вам Елену.

– Делайте что хотите. Скажу только еще одно: если только вы обидите княжну, – горе вам.

– Не запугивайте нас и не доводите до отчаяния.

– Ведь вы же хотели учинить над нею насилие, да и теперь, продавая ее за Разлоги, вам даже не пришло в голову спросить княжну, нравлюсь ли я ей?

– Об этом мы ее спросим при вас, – сказала княгиня, еле сдерживая закипавший в ее груди гнев: она ясно почувствовала презрение в словах поручика.

Симеон пошел за княжной и через минуту вернулся вместе с нею.

Среди гнева и угроз, которые, казалось, еще звучали в воздухе, среди этих нахмуренных бровей, строгих и суровых лиц, ее прелестное лицо казалось солнышком, выглянувшим из-за туч.

– Княжна, – мрачно проговорила княгиня, указывая на Скшетуского, – если ты согласна, то вот твой будущий муж.

Елена побледнела как стена и, вскрикнув, закрыла руками глаза, потом, протянув руки к Скшетускому, прошептала:

– Правда ли это?

Час спустя отряды поручика и посла отправились не спеша по лесной дороге к Лубнам. Скшетуский с Подбипентой ехали впереди, а за ними длинной вереницей тянулись посольские повозки. Скшетуский весь погрузился в тоску и раздумье, из которого его вывели долетевшие до него отдельные слова казацкой песни:

«Тужу, тужу, болит сердце...»

В глубине леса, на узкой протоптанной дорожке, показался Богун. Конь его был весь покрыт пеной и грязью.

Очевидно, он, по обыкновению, умчался в степи и лес, чтобы заглушить и рассеять свою боль и забыться.

Теперь он возвращался в Разлоги.

Смотря на эту красивую рыцарскую фигуру, которая мелькнула на одно мгновение и исчезла, Скшетуский невольно подумал про себя: «Однако это счастье, что он убил при ней человека».

Но вдруг им овладело сожаление. Ему было жаль и Богуна, и того, что, связанный данным княгине словом, он не мог теперь сейчас же погнаться за ним и сказать ему: «Мы оба любим одну и ту же девушку, поэтому один из нас должен умереть. Вынимай саблю, казак!»

## Глава V

Приехав в Лубны, Скшетуский не застал князя: тот поехал в Сенчу на крестины к Суфчинскому с княгиней, двумя княжнами Сбуровскими и множеством придворных. Ему сейчас же дали знать о возвращении Скшетуского и прибытии посла, а тем временем знакомые и товарищи радостно встречали Скшетуского, особенно Володыевский, который после поединка сделался самым лучшим его другом. Последний отличался тем, что постоянно в кого-нибудь был влюблен. Убедившись в коварстве Ануси Барзобогатой, он обратил свое внимание на Анелю Ленскую, тоже фрейлину княгини, а когда и эта месяц тому назад вышла замуж за Станишевского, он, чтобы утешиться, начал вздыхать по старшей княжне Сборовской, Анне, племяннице князя Вишневецкого.

Он сам понимал, что, залетев так высоко, не мог питать ни малейшей надежды, тем более что Бодзынский и Ляссота уже приезжали в качестве послов от имени Пржиемского, сына Ленчицкого воеводы. Несчастный Володыевский рассказал про это новое горе поручику, посвящая его во все придворные тайны, но тот слушал рассеянно: его мысли и сердце были заняты совсем другим. Если бы нетревога, эта неразлучная спутница любви, хотя бы даже взаимной, Скшетуский чувствовал бы себя вполне счастливым, вернувшись после долгого отсутствия в Лубны, где его окружили дружеские лица и шумная военная жизнь, с которой он так сжился.

Хотя Лубны, княжеская резиденция, своей роскошью могли соперничать с королевскими резиденциями, тем не менее они отличались суровой, почти походной жизнью. Кто не знал здешних порядков, тот, приехав даже в самое спокойное время, мог подумать, что люди готовятся к какому-нибудь походу.

Солдат брал верх над придворным, железо – над золотом, звук походных труб – над шумом пиров и забав. Всюду царствовал образцовый порядок и строгая, как нигде, дисциплина; всюду виднелись воины разных полков: панцирных, драгунских, казацких, татарских и валахских, в которых служило не только все Заднепровье, но даже шляхта из всех частей Польши. Кто хотел пройти настоящую школу рыцарства, тот отправлялся в Лубны. Поэтому ничего не было удивительного в том, что здесь встречались и русины, и мазуры, и литовцы, и даже пруссаки.

Пехотные полки и артиллерия, так называемые «огненные люди», состояли преимущественно из немцев, нанятых за высокую плату; в драгунах служило, главным образом, местное население; литовцы – в татарских полках, молопане – в панцирных. Князь не давал лениться своим воинам, и потому в войске его происходило постоянное движение: одни полки уходили на смену в станицы и полянки, другие возвращались в столицу; по целым дням проводились учения и смотры. Иногда князь, даже в совершенно спокойное время, предпринимал далекие походы в глухие степи и пустыни, желая таким образом приучить своих солдат к походам, побывать там, где еще никто не бывал, и еще больше прославить свое имя. Так, прошлой осенью он прошел по левому берегу Днепра до Кудока, где Гродицкий принял его, словно удельного князя; потом мимо порогов дошел до самой Хортицы и здесь, на Кучкасовом урочище, велел насыпать высокий каменный курган в память того, что этой стороной еще никто не заходил так далеко.

Богуслав Машкевич, хороший воин и очень образованный человек, описавший все походы князя, рассказывал Скшетускому о последнем чуде. Володыевский, принимавший в нем участие, подтвердил справедливость его слов.

Они видели пороги и дивились им, в особенности Ненасытцу, который, как пресловутые Сцилла и Харибда, поглощал ежегодно сотни людей. Были они и на востоке, в выжженных степях, где от обгоревших пеньков так была затруднена езда, что приходилось обертывать кожей лошадей ноги. Они видели там множество гадов, медянок и страшно длинных и тол-

стых, как человеческая рука, ужей и других змей. Дорогой они вырезали на дубах на память княжеские гербы и, наконец, зашли в такую глухую степь, где уже нельзя было найти и следов человека.

– Я уж думал, – сказал ученый Машкевич, – что нам, как Улиссу, придется спуститься и в преисподнюю.

– Солдаты передового полка стражника Замайского уверяли, что они видели конец земного шара, – сказал Володыевский.

В свою очередь поручик рассказал товарищам о Крыме, где провел почти полгода, ожидая ответа хана, о тамошних старинных городах, о татарах, об их военной силе и, наконец, о страхе, который внушал им распространившийся слух о предстоящем походе Польши на Крым, в котором должны были принять участие все силы Республики.

Беседуя таким образом каждый вечер, офицеры поджидали возвращения князя, а пока Скшетуский представил своим товарищам Лонгина Подбипенту, который сразу понравился всем и своей нечеловеческой силой приобрел всеобщее уважение. Он уже рассказал кой-кому про своего предка Стowejко и про три головы, промолчал только о своем обете, не желая нарваться на насмешки.

Он подружился особенно с Володыевским благодаря тому, что тот имел такое же чувствительное сердце, как и он. Спустя несколько дней после знакомства они уже ходили вместе на городской вал вздыхать: один по недосыгаемой для него звезде, княжне Анне, другой – по неизвестной еще ему невесте, от которой его отделяли три головы.

Володыевский хотел, чтобы Подбипента шел в драгуны, но литвин решил записаться в панцирный полк, чтобы служить под начальством Скшетуского. Он очень обрадовался, узнав, что все в Лубнах считают Скшетуского одним из лучших рыцарей и офицеров князя. В полку, где служил Скшетуский, открывалась вакансия после Закржевского, по прозвищу *Miserere mei*, который две недели лежал в постели и не подавал надежды на выздоровление, так как у него открылись от сырости все раны. К любовным огорчениям Скшетуского присоединились еще и печаль и боязнь потерять старого товарища и друга. Он по целым часам не отходил от его изголовья, утешал его как умел и подкреплял его надеждой, что они еще совершат вместе не один поход.

Но старик не нуждался в утешении. Он весело умирал на жестком рыцарском ложе, обтянутом конской шкурой, и с детской почти улыбкой смотрел на висевшее над ним распятие.

– Помилуйте, поручик, – говорил он, – мне уже пора в небесную обитель. Только тело мое так продырявлено, что я боюсь, пустит ли меня святой Петр в рай в такой изорванной одежде. Он ведь там гофмаршалом состоит и должен наблюдать за порядком. А я ему скажу: «Святой Петр, заклинаю тебя ухом Малха, не гони меня – ведь это нехристи попортили мне так телесную оболочку... Если святой Михаил начнет поход против адских сил, то старый Закржевский еще пригодится».

Хотя Скшетуский как воин много раз смотрел в глаза смерти, не раз и сам причинял ее другим, однако он не мог теперь удержаться от слез, слушая этого старика, последние минуты которого были подобны тихому солнечному закату.

Однажды утром колокольный звон всех лубенских костелов и церквей возвестил о смерти Закржевского.

В этот же день приехал из Сенчи князь, а с ним – Бодзынский, Ляссота, целый двор и множество шляхты. Князь, желая почтить заслуги умершего и показать свое умение ценить истинных рыцарей, устроил торжественные похороны. В похоронной процессии участвовали все стоящие в Лубнах полки, на валах стреляли из пушек. Кавалерия шла от замка до соборного костела в боевом порядке, но со свернутыми знаменами; за нею шли пехотные полки с ружьями на плечо. Сам князь, одетый в траур, ехал за гробом в золоченой карете, запряженной восемью белыми лошадьми с выкрашенными пунцовой краской гривами и хвостами и с пучками

черных страусовых перьев на головах. Перед его каретой шел отряд янычар, составлявший личную стражу князя, а за ними, на красивых лошадях, – пажи, одетые в испанские костюмы, затем – высшие придворные чины, приближенные дворяне, слуги, наконец, гайдуки и стражники. Шествие остановилось у дверей костела, где ксендз Яскульский встретил гроб речью, которая начиналась словами: «Куда так спешишь, друг Закржевский?» Говорили еще и другие, а между ними и Скшетуский, как бывший начальник и друг покойного. Затем тело внесли в костел, где с речью выступил патер-иезуит Муховецкий, красноречивейший оратор того времени; патер произнес такую прекрасную речь, что даже сам князь заплакал. Князь был добрым господином и истинным отцом своих солдат он соблюдал железную дисциплину, но никто не мог сравниться с ним в щедрости, умении ласково обходиться с людьми и в заботливости, с какой он относился не только к своим воинам, но и к их женам и детям. Страшный и немилосердный к непокорным, он был, однако, настоящим благодетелем не только для шляхты, но и для всего населения.

Когда в 1646 году саранча уничтожила жатву, он отказался от арендной платы за целый год, а крестьянам велел выдавать хлеб из своих житниц; после пожара в Хороле он в продолжение двух месяцев содержал на свой счет всех тамошних мещан. Арендаторы и управляющие экономиями дрожали, боясь, чтобы до слуха князя не дошла весть о каких-нибудь злоупотреблениях и обидах, причиненных крестьянам. Для сирот он был таким опекуном, что в Заднепровье их прозвали «княжескими детьми». Заботилась о них сама княгиня Гризельда с помощью отца Муховецкого. Во всех княжеских владениях царствовали порядок, достаток и спокойствие, но в то же время и страх, потому что в случае малейшего неповиновения гневу и карам князя не было границ. В его характере великодушие было нераздельно со строгостью. Но в те времена и в тех краях только эта строгость и могла охранять жизнь людей и их труд; только благодаря ей возникли города и села, земледелец взял верх над гайдамаком, купец спокойно развозил свой товар, церковные колокола спокойно созывали верных на молитву, враг не смел переступить границы, шайки разбойников или гибли на кольях или обращались в солдаты, – одним словом, некогда пустынный край процветал.

Дикой стране этой и диким ее обитателям нужна была именно такая железная рука, потому что в Заднепровье стекался с Украины самый беспокойный люд: сюда приходили поселенцы, привлеченные плодородием земли, беглые крестьяне из всех частей Польши, бежавшие из заключения преступники и так далее. Обуздать их и сделать мирными поселенцами мог только такой лев, как князь, перед которым все трепетало.

Лонгин Подбипента, увидев первый раз князя на похоронах Закржевского, не верил собственным глазам. Наслышавшись столько об его славе, он вообразил, что князь какой-то великан, на целую голову превышающий обыкновенных людей, а князь между тем был небольшого роста и довольно худощав. Это был еще молодой человек: ему было всего тридцать шесть лет, но на лице его уже виднелись следы военных трудов. Хотя в Лубнах он жил настоящим королем, но зато во время походов вел жизнь простого воина: ел черный хлеб и спал на земле, на войлоке; а так как большая часть его жизни прошла в военных трудах, то они не могли не отразиться на его лице; однако с первого же взгляда его наружность показывала, что это необыкновенный человек. В нем чувствовались железная непреклонная воля и величие, перед которыми каждый невольно склонял голову. Видно было, что он хорошо знает свою силу и могущество и, если бы завтра ему надели на голову корону, он нисколько не был бы удивлен или угнетен ее тяжестью. Глаза у него были большие, спокойные и добрые, но в них, казалось, дремали громы, и чувствовалось, что горе будет тому, кто разбудил бы их. Никто не мог вынести этого спокойного блеска его глаз; не раз послы и опытные царедворцы так смущались перед ним, что не могли начать речь. Впрочем, в своем Заднепровье он был настоящим королем. Из канцелярии его выходили грамоты и указы с заголовками: «Мы, Божиею милостью князь и господин» и так далее. Не многих он считал равными себе. Многие князья владетельных родов

служили при его дворе маршалами. Таким же маршалом был в свое время и отец Елены, Василий Бульга-Курцевич, который вел свое происхождение от самого Рюрика В князе Иеремии было нечто такое, что, несмотря на его врожденную доброту, держало людей на почтительном расстоянии. Любя своих солдат, он иногда фамильярничал с ними, но никто не осмелился бы первый сделать шаг к этому; однако если бы он велел им броситься в Днепр, то они, ни минуты не колеблясь, исполнили бы его приказание.

От матери-валашки он унаследовал белизну кожи и черные, как вороново крыло, волосы, коротко остриженные и только спереди густою прядью спадавшие на лоб. Одевался он по-польски, но не особенно заботился о своем костюме; только в торжественные дни он надевал богатые одежды и весь сиял тогда золотом и драгоценными камнями. Лонгин несколько дней спустя присутствовал при подобном торжестве, когда князь принимал Розвана Урсу. Аудиенции послов происходили всегда в так называемой Звездной зале, на потолке которой был небесный свод со всеми звездами кисти художника Гельма. Князь сидел под бархатным, обшитым горностаем балдахинном на высоком кресле, похожем на трон, с позолоченным подножием; за князем стояли: ксендз Муховецкий, секретарь, маршал, князь Воронич, Богуслав Машкевич, далее пажи и двенадцать драбантов с алебардами в испанских костюмах; зал был наполнен рыцарями в роскошных мундирах Розван Урсу просил от имени господаря, чтобы князь повлиял на хана и заставил бы последнего запретить нападать на Валахию будякским татарам, которые ежегодно производили в ней страшные опустошения Князь отвечал по-латыни, что будякские татары не очень-то слушают даже самого хана, но все-таки обещал напомнить об этом хану через посла, мурзу Чауса, которого князь ожидал в апреле. Скшетуский уже раньше отдал князю отчет о результатах своего посольства и путешествия, а также обо всем, что он слышал, о Хмельницком и его побеге в Сечь. Князь решил двинуть к Кудаку несколько полков, но большого значения этому делу не придал. Так как, казалось, ничто не угрожало спокойствию и могуществу заднепровского княжества; то в Лубнах начались празднества по случаю приезда посла, а также в честь Бадинского и Ляссоты, которые торжественно просили для сына воеводы Пржиемского руки старшей его племянницы, княжны Анны, на что получили согласие князя и княгини Гризельды.

Один только маленький Володыевский сокрушался об этом, а когда Скшетуский хотел утешить его, он сказал ему:

– Хорошо тебе говорить, когда тебе стоит только захотеть, и ты можешь жениться на Анусе Она тут все время вспоминала о тебе; сначала я думал, что она хочет возбудить этим ревность в Быховце, но вижу, что она совсем не думает о нем, а к тебе питает более нежное чувство.

– Что мне Ануся! Можешь вернуться к ней, если хочешь, – не возражаю, – но о княжне Анне перестань и думать; ведь это все равно что шапкой накрыть в гнезде феникса.

– Я знаю, что для меня она феникс, и потому-то мне, наверное, придется умереть с горя.

– Останешься жив и снова сейчас же влюбишься; только на этот раз не влюбляйся в княжну Варвару, потому что опять какой-нибудь сын воеводы уведет ее у тебя из-под носа.

– Разве сердце слуга, которому можно приказывать! Можно ли запретить глазам смотреть на такое чудное существо, как княжна Варвара, один вид которой мог бы укротить дикого зверя.

– Вот тебе на! – воскликнул Скшетуский. – Вижу уже, что ты утетишься и без моей помощи, но повторяю: вернись к Анусе, а с моей стороны ты не будешь иметь ни малейшего препятствия.

Ануся, однако, совсем не думала о Володыевском. Ее раздражало, интересовало и сердило равнодушие Скшетуского, который, вернувшись после такого долгого отсутствия, даже не взглянул на нее. Когда по вечерам князь со своими приближенными офицерами и придворными приходил в гостиную княгини, чтобы позабавиться разговорами, Ануся (она была

маленького роста, а княгиня высокого) выглядывала из-за плеча своей госпожи и впивалась черными глазками в лицо поручика, желая разгадать его. Но глаза Скшетуского, так же как и мысли его, блуждали в другом месте, а когда случайно взор его падал на нее, то был таким задумчивым и стеклянным, как будто бы он никогда не смотрел на нее и не пел ей:

«Вы, как турецкая орда,  
Берете в плен сердца...»

«Что с ним случилось?» – спрашивала себя избалованная любимица всего двора и, топнув маленькой ножкой, решила узнать, в чем дело. Она, правда, не любила Скшетуского, но, привыкнув к ухаживанию, не могла допустить, чтобы на нее не обращали внимания, и с досады уже сама была готова влюбиться в дерзкого.

Однажды она бежала с мотками ниток для княгини и встретила Скшетуского, выходящего из соседней спальни князя. Налетев на него, как буря, она почти столкнулась с ним грудью и, отскочив, сказала:

– Ах, как я испугалась! Здравствуйте!

– Здравствуйте. Разве я уж такое чудовище, что даже испугал вас?

Девушка стояла с потупленными глазками, перебирая пальцами незанятой руки концы своих кос, переступала с ножки на ножку и, как бы смущенная, ответила с улыбкой:

– Нет! Вовсе нет!

При этом она быстро взглянула на поручика и снова опустила глаза.

– Вы сердитесь на меня?

– Я? Разве вам не все равно. Сержусь я или нет?

– Конечно, все равно! Было бы о чем беспокоиться. Может быть, вы думаете, что я сейчас заплачу? Быховец гораздо вежливее вас...

– Если так, то мне остается только уступить ему место и удалиться с ваших глаз.

– А разве я держу вас?

Сказав это, Ануся загородила ему дорогу.

– Так вы вернулись из Крыма? – спросила она.

– Да, из Крыма.

– А что вы привезли оттуда?

– Привез Подбипенту. Вы ведь уже видели его? Это очень милый кавалер.

– Разумеется, лучше вас. А зачем он приехал сюда?

– Чтобы вам было на ком пробовать свою силу. Но советую вам хорошо взяться за это дело, потому что я знаю один секрет, который делает его непобедимым... и даже вам не справиться с ним.

– Отчего же он непобедим?

– Оттого, что не может жениться.

– А мне-то какое дело? Отчего он не может жениться?

Скшетуский наклонился к самому уху молодой девушки, но сказал громко и внятно:

– Потому что дал обет целомудрия.

– Глупо! – быстро воскликнула Ануся и в ту же минуту упорхнула, как испуганная птичка.

Однако в тот же вечер она в первый раз внимательно посмотрела на Подбипенту. Гостей в этот день была масса, так как князь давал прощальный пир в честь Бодзынского. Наш литвин, одетый в белый атласный жупан и темно-синий бархатный контуш, имел очень представительный вид, тем более что сбоку у него вместо его огромного меча висела кривая сабля в золоченых ножнах.

Глазки Ануси, назло Скшетускому, начали стрелять в Подбипенту. Поручик, однако, и не заметил бы этого, если б не Володыевский, который, толкнув Скшетуского локтем, сказал:

– Ну пускай я попаду в плен, если только Ануся не желает приглынуться этой литовской жерди!

– Скажи это ему самому.

– Разумеется, скажу. Славная выйдет из них парочка.

– Он может носить ее вместо пуговицы на жупане. Между ними именно такая пропорция.

– Или вместо султана на шапке.

Володыевский подошел к литвину.

– Вы только недавно приехали сюда, а уж видно, что вы франт не последней руки.

– Почему же это, братец?

– Да потому, что успели вскружить голову самой хорошенькой девушке при дворе.

– Голубчик! – воскликнул Подбипента, складывая руки. – Что вы говорите!

– Посмотрите-ка на Анусю Барзбогатую, в которую мы тут все влюблены, как она сегодня стреляет в вас глазками. Только берегитесь, чтобы она не провела и вас, как провела нас всех.

Сказав это, Володыевский повернулся и отошел, оставив Подбипенту в недоумении.

Последний даже не посмел сразу посмотреть в сторону Ануси и только потом, как бы случайно, бросил на нее взгляд – и задрожал. Из-за плеча княгини Гризельды на него действительно упорно смотрели любопытные огненные глазки. «Сгинь, сатана», – подумал литвин и, покраснев, как рак, убежал в другой конец залы.

Однако искушение было слишком велико. Этот бесенок, выглядывающий из-за плеча княгини, был так привлекателен, эти глазки так ярко горели, что Подбипенту так и тянуло еще раз взглянуть на них. Но тут он вспомнил свой обет, перед глазами его встал предок, Стowejко Подбипента, и три головы, и страх овладел им. Он перекрестился и в этот вечер уже больше не взглянул на Анусю.

На следующий день утром он пришел к Скшетускому.

– А что, господин поручик, скоро мы двинемся в поход? Что слышно о войне?

– Приспичило вам! Потерпите, пока не поступите в полк.

Подбипента не был еще записан на место покойного Закржевского. Он должен был ждать этого до первого апреля. Но он действительно торопился и продолжал:

– А князь ничего не говорил об этом?

– Нет. Король до самой смерти не перестанет думать о войне, но Польша не хочет ее.

– А в Чигорине говорили, что угрожает казацкий бунт?

– Видно, уж очень надоел вам обет! Что касается бунта, то знайте, что до весны его не будет, потому что хоть зима и теплая, но все-таки – зима. Теперь только пятнадцатое февраля, и каждый день еще могут настать морозы, а казак ведь не двинется в поле, пока нельзя окопаться, потому что казаки отлично дерутся из-за окопов, но в открытом поле совсем не умеют действовать.

– Значит, и казаков надо ждать?

– Примите во внимание также и то, что если бы даже вам и удалось во время казацкого бунта снять три головы, то еще неизвестно, освободитесь ли вы от своего обета, потому что крестоносцы и турки – это одно, а свои – другое; ведь это, так сказать, дети одной матери.

– О, Боже великий! Вот вбили вы мне сук в голову. Вот горе! Пусть ксендз Муховецкий разрешит мои сомнения, а то я не буду иметь ни минуты покоя.

– Наверное, разрешит: он человек ученый и набожный, но, думаю, он скажет то же самое. Ведь это – гражданская, братская война.

– А если бы на помощь бунтовщикам явилось иноземное войско?

– Тогда другое дело. А теперь могу посоветовать только одно: ждать и быть терпеливее.

Однако Скшетуский умел только советовать, но сам не умел следовать своему совету. Его все больше и больше охватывала тоска; ему надоели и придворные празднества и лица, на которые он еще недавно смотрел с таким удовольствием.

Наконец Бодзынский, Ляссота и Розван Урсу уехали, и после их отъезда настало полное затишье.

Жизнь потекла однообразно. Князь занялся размежеванием своих огромных владений и каждое утро записывался с комиссарами, приехавшими со всей Руси и из княжества Сандомирского, так что редко происходили даже военные учения. Шумные офицерские пиры, на которых рассуждали о будущих войнах, необыкновенно утомляли Скшетуского, и он часто с ружьем уходил на Солоницу, где некогда Жолкевский так страшно разгромил Наливайку, Лободу и Кремского. Следы этой битвы изгладились из людской памяти и на месте самого побоища. Иногда только из земли показывались побелевшие кости, да за рекой возвышалась насыпь, из-за которой так отчаянно защищались запорожцы Лободы и вольница Наливайки. Но уже и насыпь начала зарастать густым кустарником.

Туда-то и скрывался Скшетуский от придворного шума и, вместо того чтобы стрелять в птиц, мечтал о любимой девушке.

Но вскоре начали падать частые дожди, предвещавшие весну. Солоница превратилась в болото, так что нельзя было выйти на улицу, и поручик лишился даже того утешения, которое находил в одиноких прогулках. А беспокойство его росло – и не без причины. Он надеялся сначала, что княгиня с Еленой, – если только княгине удастся отделаться от Богуна, – тотчас же приедет в Лубны, а теперь исчезла и эта надежда. Дороги испортились; степь по берегам Сумы на несколько миль превратилась в огромное болото: приходилось ждать, пока горячее весеннее солнце не высушит его. Все это время Елена оставалась под опекой, которой Скшетуский не доверял, среди необразованных, диких и несимпатичных ему людей. Правда, ради собственной пользы они должны были сдержать данное слово, так как не имели другого выбора, но кто мог угадать, что они придумают, на что решатся, в особенности когда над ними тяготела воля страшного атамана, которого они, очевидно, одновременно и боялись, и любили.

Он легко мог силой заставить их отдать ему девушку, тем более что такие случаи были не редкость. Так, в свое время товарищ несчастного Наливайки, Лобода, принудил Поплинскую отдать ему в жены ее воспитанницу, несмотря на то, что девушка эта была хорошего шляхетского рода и всей душой ненавидела его. А если правда, что говорили о несметных богатствах Богуна, то он заплатит им и за девушку, и за потерю Разлог.

«А потом что? Потом они насмешливо донесут мне, что их принудили к этому силой, а сами скроются куда-нибудь в литовские или мазовецкие пущи, где их не найдет и не накажет даже сам князь». При этой мысли Скшетуский дрожал, как в лихорадке, метался как волк на цепи, сожалея о данном княгине рыцарском слове, и не знал, что ему делать. Это был человек, не любящий покоряться обстоятельствам; в натуре его было много предприимчивости и энергии; он не ждал того, что пошлет ему судьба, но предпочитал сам справляться с нею и заставлял ее благоприятствовать себе, – поэтому ему было труднее, чем кому бы то ни было, сидеть в Лубнах сложа руки.

Он решил действовать. У него в услужении был мальчик лет шестнадцати, по имени Жендян, сын мелкого польского шляхтича, такой молодец на все руки, что за ним не угнался бы и взрослый. Его-то Скшетуский и решил послать к Елене, а вместе с тем и на разведку.

Был уже конец февраля. Дожди прекратились, март сулил хорошую погоду, а дороги немного подсохли.

Жендян собрался в путь. Скшетуский снабдил его письмом, бумагой, перьями и чернилами, приказав ему беречь все это пуще глаза, зная, что в Разлогах таких вещей не найти. Мальчику было приказано никому не говорить, кто послал его, делать вид, что он едет в Чигирин, и внимательно ко всему присматриваться, а главное – разведать о Богуне, где он и что делает.

Жендян не заставил повторять приказаний: надвинув шапку набекрень и свистнув нагайкой, он уехал.

Для Скшетуского потянулись тяжелые дни ожидания. Чтобы убить время, он начал фехтовать с Володыевским, который был мастером этого дела.

Однажды в Лубнах случилось происшествие, из-за которого Скшетуский чуть было не поплатился здоровьем.

В один прекрасный день с цепи на княжеском дворе сорвался медведь, покусал двух конюхов, перепугал лошадей комиссара Хлебовского и, наконец, бросился на поручика, который в это время шел из цейхгауза к князю без сабли, только с небольшим кинжалом в руках. Он, несомненно, погиб бы, если бы не Лонгин, который, увидев из цейхгауза, что делается, схватил свой меч и прибежал на помощь. Подбипента оказался достойным потомком предка Стowejки: он на глазах у всех одним взмахом разбил медведю голову. Сам князь видел этот подвиг из окна и тотчас же повел Лонгина в покои к княгине, где Ануся Барзобогатая так стреляла в него своими глазками, что на другой день он должен был идти на исповедь и три дня не показывался в замке, пока горячей молитвой не отогнал всякие искушения.

Прошло между тем десять дней, а Жендян не возвращался. Наш поручик так похудел от ожидания, что Ануся через посланных стала допытываться, что с ним такое, а Карбони, княжеский доктор, прописал ему какое-то лекарство от меланхолии. Но ему нужно было другое лекарство: он днем и ночью все думал о своей княжне и чувствовал все сильней и сильней, что в сердце его проникло не простое чувство, а сильная любовь, которая должна быть удовлетворена, иначе она разорвет его грудь, как слишком непрочный сосуд.

Легко можно представить себе его радость, когда однажды на рассвете к нему вошел Жендян, забрызганный грязью, измученный, исхудалый, но веселый и, судя по лицу, с хорошими вестями.

Поручик моментально вскочил с постели, подбежал к нему и, схватив за плечи, крикнул:

– Есть письмо?

– Есть. Вот оно.

Скшетуский схватил письмо и стал читать.

Он долго сомневался, привезет ли ему Жендян письмо, так как не был уверен, умеет ли Елена писать.

Украинские женщины вообще не отличались образованностью, а Елена к тому же росла в необразованной семье. Но, очевидно, еще отец научил ее этому искусству, так как она написала длинное письмо на четырех страницах. Бедняжка, правда, не умела красиво выражаться, но писала то, что подсказывало ее сердце.

«Я Вас никогда не забуду, скорее Вы забудете меня, – писала она, – я слышала, что между Вами бывают и легкомысленные. Но из того, что Вы нарочно послали за столько миль Вашего слугу, я вижу, что я мила Вам так же, как и Вы мне, за что я благодарю Вас всем сердцем. Не думайте, что мне не стыдно писать Вам о своей любви, но лучше сказать правду, чем солгать или скрыть то, что на сердце. Я расспрашивала Жендяна, что Вы делаете в Лубнах, о лубенских придворных обычаях, а когда он мне рассказал о красоте и ловкости тамошних барышень, то я с горя залилась слезами...»

Тут поручик прервал чтение и спросил Жендяна:

– Что ты там наговорил, дурак?

– Только хорошее, – ответил Жендян.

«...Потому что где же мне, простушке, равняться с ними, – читал дальше Скшетуский. – Но Ваш слуга сказал мне, что Вы даже ни на кого не хотите и смотреть...»

– Это ты хорошо сказал, – проговорил Скшетуский.

Жендян, правда, не знал, в чем дело, но сделал глубокомысленное лицо и значительно кашлянул.

Скшетуский продолжал читать дальше.

«...Я тотчас же утешилась и стала просить Бога, чтобы Он и далее сохранил в Вас те же чувства ко мне и благословил нас обоих... А я уж так стосковалась по Вас, точно по матери... Тяжело и грустно мне, сироте, когда я не с Вами... Бог видит, что сердце мое чисто, а простоту мою Вы должны мне простить...»

Далее прелестная княжна писала, что она вместе с теткой выедет в Лубны, как только дороги станут лучше, и что сама тетка спешит с отъездом, так как из Чигирина дошли слухи о каких-то казацких волнениях; она ждет только возвращения князей, которые поехали на конскую ярмарку в Богуслав.

«Вы настоящий чародей, – писала княжна, – потому что умели очаровать даже тетку...»

Тут поручик усмехнулся, вспомнив, каким способом ему удалось очаровать княгиню. Письмо кончалось уверениями в постоянной, искренней любви, какую будущая жена должна питать к мужу. В каждом слове его видна была чистота сердца, и поручик по нескольку раз прочитывал это письмо с начала до конца, повторяя в душе: «Моя дорогая, пусть меня накажет Бог, если я когда-нибудь покину тебя!»

Затем он начал спрашивать обо всем Жендяна. Сообразительный юноша подробно рассказал ему о своем путешествии. Приняли его ласково. Старая княгиня задавала ему много вопросов о Скшетуском и когда узнала, что он славный рыцарь и доверенный князя, а к тому же и богатый, то очень обрадовалась.

– Она спрашивала меня, – сказал Жендяна, – всегда ли вы держите данное слово, а я ей ответил: «Княгиня! если бы поручик обещал мне валахского коня, на котором я приехал, то я знал бы, что он не минует меня».

– Ловок же ты! – ответил Скшетуский, – но уж если ты так ручался за меня, то бери его себе... Значит, ты ничего не скрывал, а прямо сказал, что это я послал тебя?

– Сказал... я видел, что можно было сказать: меня приняли тогда еще ласковее, в особенности барышня – такая красавица, что другой такой не найти. Когда она услышала, что я приехал от вас, то не знала, куда посадить меня, и если бы не пост, то я катался бы как сыр в масле. Читая ваше письмо, она от радости обливала его слезами.

Поручик от счастья не мог говорить; а несколько минут спустя спросил:

– А о Богуне ты ничего не узнал?

– Мне неловко было узнавать про него у княгини или у княжны; я разузнал все от старого татарина Чеглы, который, хотя и нехристь, но верный слуга княжны. Он сказал, что сначала все они очень сердились на вас, но когда узнали, что слухи о богатстве Богуна – одни сказки, то успокоились.

– Как же они узнали об этом?

– Да это вот как было: у княгини Были счеты со Сивинскими, по которым она обязалась платить; когда пришел срок, обратились к Богуну: «Займи». А он сказал, что из турецкого добра у него еще есть кое-что, но денег нет. все, что было, истратил. Как только они услышали это, сейчас же переменялись.

– Что и говорить! Ты хорошо все исполнил.

– Если б я узнал про одно, а про другое ничего, то вы могли бы сказать: «Коня я тебе дам, но только без седла». Но какой уж это конь без седла!

– Ну, ну! Бери уж и седло.

– Покорно благодарю! Вот они и спровадили Богуна в Переяславль, а я когда узнал об этом, то подумал: отчего бы и мне не поехать в Переяславль? Если вы будете мною довольны, то я скорее надену мундир...

– Скоро наденешь. Так ты был и в Переяславле?

– Был, но Богуна там не нашел. Старый полковник Лобода болен. Говорят, что после него полковником будет Богун. Только там творится что-то странное. В полку осталась какая-

нибудь горсть казаков, остальные, говорят, ушли за Богуном или же убежали в Сечь, – там, наверное, готовится бунт. Я хотел во что бы то ни стало узнать что-нибудь о Богуне, но мне только и могли сказать, что он переправился на русский берег<sup>2</sup>. «Ну, – подумал я, – если так, то наша барышня от него в безопасности», – и вернулся.

– Отлично все исполнил. А никаких приключений не было в дороге?

– Нет... Только мне страшно хочется есть.

Жендян вышел, а поручик, оставшись один, снова стал перечитывать письмо Елены и прижимать его к губам, хотя буквы в нем не были так красивы, как ручка, писавшая их.

Надежда снова воскресла в его сердце, и он подумал: «Дороги скоро подсохнут, лишь бы только Бог дал хорошую погоду. Курцевичи, узнав, что Богун голыш, теперь, наверное, не изменят мне. Отдам им Разлоги и лучше прибавлю еще своего – лишь бы только мне достать свою дорогую звездочку...»

И, одевшись, он с веселым лицом и счастливым сердцем пошел в часовню, чтобы поблагодарить Бога за хорошую весть.

---

<sup>2</sup> Правый берег Днепра назывался русским, а левый – татарским.

## Глава VI

Зашумела вся Украина и Заднепровье, как бы предчувствуя близкую бурю. Из села в село, из хутора в хутор перелетали какие-то странные вести, точно трава перекаати-поле. В городах шептались о большой войне, но кто и с кем будет воевать – никто не знал. Что-то, однако, готовилось. На лицах у всех отражалась тревога; земледелец неохотно выходил со своим плугом в поле, хотя весна была ранняя, теплая и тихая, а над степью уже давно щебетали жаворонки. По вечерам поселяне толпами собирались на улицах, рассказывая вполголоса разные страсти. Все спрашивали слепцов, бродивших всюду со своими бандурами и распевавших около каждого жилища. Некоторым даже казалось, что по ночам на небе видны какие-то странные отблески и что месяц восходит краснее обыкновенного. Предсказывали всевозможные бедствия, ходили слухи о близкой смерти короля. Все это возбуждало тревогу и опасения, которые были тем удивительнее, что страна эта издавна привыкла к всевозможным волнениям, набегам, и битвам, а потому ее трудно было чем-нибудь напугать; очевидно, в самом воздухе чувствовалось что-то особенно выдающееся и зловещее, раз тревога стала всеобщей.

Это действовало на всех еще тяжелее потому, что никто не мог указать, откуда шла опасность. Между зловещими признаками обращали на себя всеобщее внимание преимущественно два: во-первых – появление во всех городах и селениях неслыханного количества певцов-кобзарей, среди которых была масса чужих, никому не известных лиц; они бродили из селения в селение, из города в город, таинственно говоря, что приближается день суда и гнева Божия; во-вторых – низовцы стали страшно пить. Этот последний признак был опаснее других Сечь, занимающая незначительное пространство, не могла прокормить всех своих людей, походы случались не всегда, а степи не давали хлеба казакам, – поэтому масса низовцев в мирное время рассыпалась по окрестным селениям. Вся Украина была полна ими и даже вся Русь! Одни поступали в военные отряды, другие торговали водкой, иные занимались торговлей и ремеслами по городам и селениям. Почти в каждой деревне стояла в стороне от других хата, в которой жил запорожец. Некоторые имели здесь жен и хозяйство. Запорожец, как человек бывалый, становился отчасти благодетелем деревни, в которой поселялся. Не было лучше них кузнецов, плотников, шорников, воскобоев, рыбаков и охотников. Казак все умел сделать: и дом построить, и седло сшить. Но все-таки это были беспокойные обыватели, так как жили всюду не постоянно, а временно. Хотел ли кто из них расправиться с кем-нибудь, напасть на соседа или же защититься от ожидаемого нападения – тому стоило только крикнуть, и казаки слетались, как вороны на добычу. Услугами их пользовались и шляхта, и паны, вечно ведущие споры между собою; если не было этого, то они мирно сидели по деревням, работая до упаду и в поте лица добывая насущный хлеб.

Так продолжалось иногда год или два, пока не распространилась весть о каком-нибудь походе на татар, на ляхов или же на Валахию; тогда все эти бондари, кузнецы, шорники и воскобой бросали свои мирные занятия и начинали пить до потери сознания по всем украинским кабакам. Пропив все, они начинали пить в долг, «не на то, што е, а на то, што буде», – будущая добыча должна была заплатить за все. Явление это повторялось так часто, что привычные уже к нему украинцы говорили обыкновенно: «Ого! шинки уже ломаются от низовцев – значит, в Украине что-то готовится». Старосты тогда усиливали свои отряды, а шляхта отсылала в город жен и детей.

Этой же весной казаки запили как никогда, тратя все нажитое ими добро; наблюдалось это не в одном каком-нибудь уезде или воеводстве, но по всей Украине, во всю ее ширь и длину.

Итак, что-то готовилось, хотя сами низовцы не знали еще, что именно. Заговорили о Хмельницком, о его побеге в Сечь и об ушедших за ним городских казаках из Черкас, Богуслава, Корсуни и других городов, но в то же время поговаривали и о другом. Уж несколько

лет ходили слухи о войне с северными, которой очень желал король и которая доставила бы казакам богатую добычу, но поляки не хотели ее; а теперь все эти слухи перепутались между собою и породили во всех умах тревогу и ожидание чего-то необычайного.

Тревога эта проникла и за лубенские стены. Нельзя же было закрыть глаза на все эти предзнаменования, да и не было этого обыкновения у князя Иеремии. Правда, в его владениях волнение это не выражалось так явно, – страх налагал узду на всех, но с некоторых пор из Украины стали долетать слухи, что «то тут, то там мужики начинают оказывать неповиновение шляхте, что они убивают евреев, силой уходят в реестровые казаки ввиду войны с басурманами и что число беглых в Сечи все увеличивается».

Князь разослал гонцов к Краковскому, Калиновскому, к Лободе в Переяславль, а сам тем временем собирал из степей войска и стада. Наконец пришли успокоительные вести. Великий гетман доносил князю все, что знал о Хмельницком, но не предполагал, чтобы эта история могла грозить чем-нибудь серьезным. «Вся эта голытьба, – писал он, – словно пчелиный рой, вечно шумит весною». Один только старый хорунжий Зацвилюховский заклинал князя не шутить с этим; он видел, что с Диких Полей надвигается гроза, а о Хмельницком сообщал, что тот поехал из Сечи в Крым, чтобы просить помощи у хана<sup>3</sup>.

Князь доверял Зацвилюховскому больше, чем самим гетманам, потому что знал, как хорошо изучил Зацвилюховский казаков и все их фортели. Он решил поэтому собрать как можно больше войска и одновременно разузнать всю правду.

Однажды утром он велел призвать к себе Быховца, поручика ваяхского отряда, и сказал ему:

– Ты поедешь моим посланцем в Сечь, к кошевому атаману, и отдашь ему вот это письмо с Жюей печатью. Но чтобы ты знал, как тебе нужно держаться, я тебе скажу: письмо это – предлог, а суть этого посольства зависит уже от твоего ума. Надо разузнать все, что там делается, сколько у них созвано войска и собирают ли они еще. Советую поближе сойтись с кем-нибудь из них и хорошенько разведать все о Хмельницком: где он и правда ли, что он поехал в Крым просить помощи у татар. Понимаешь?

– Для меня это ясно как день.

– Поедешь в Чигирин, там отдохнешь одну ночь. Приехав туда, пойдешь сейчас же к хорунжему Зацвилюховскому, чтобы он снабдил тебя письмами к своим приятелям в Сечь; письма эти отдашь им так, чтобы никто не видел; они все тебе расскажут. Из Чигирина поедешь на байдаке в Кудак, передашь от меня поклон Градицкому и вручишь ему это письмо. Он даст тебе перевозчиков и переправит через пороги. В Сечи тоже не мешкай: посмотри, послушай, да и возвращайся, если останешься жив, потому что дело это не шуточное.

– Ваша светлость, можете распорядиться моей кровью! Сколько человек прикажете взять?

– Возьмешь отряд в сорок человек. Отправишься сегодня под вечер, а перед этим зайдешь еще ко мне за инструкциями. Я возлагаю на тебя важную миссию.

Обрадованный Быховец, выйдя от князя, встретил в передней Скшетуского и нескольких артиллерийских офицеров.

– Ну что? – спросил его Скшетуский.

– Сегодня отправляюсь в путь!

– Куда?

– В Чигирин, а оттуда дальше.

<sup>3</sup> «Друзья из Сечи извещают меня, – говорилось в письме, – что кошевой собирает все пешее и конное войско, ничего не говоря, для чего он это делает; я предполагаю, что эта гроза скоро обрушится на нас, и если татары окажут помощь казакам, то дай Бог, чтобы для нас не погибла вся Украина».

– Пойдем-ка со мной, – сказал Скшетуский и, пригласив его к себе, стал просить уступить ему это поручение.

– Как истинного друга, прошу тебя! Требуй все, что захочешь, – турецкого коня, кинжал, – все дам, ничего не пожалею, только бы мне можно было ехать в ту сторону, потому что моя душа так и рвется туда! Хочешь денег – дам, только уступи. Славы это дело не принесет тебе; если же будет война, то она начнется раньше здесь, а погибнуть там можешь легко. Я знаю, кроме того, что Ануся мила тебе, как и другим, а уедешь – ей тут вскружат без тебя голову.

Этот последний аргумент в глазах Быховца был убедительнее всех других, но он все-таки не соглашался. Что скажет на это князь? Не рассердится ли? Ведь подобное поручение – милость.

Услышав это, Скшетуский бросился к князю и велел пажу немедленно доложить о себе; через минуту паж вернулся с разрешением войти.

У поручика от страха забилося сердце, до того он боялся услышать короткое «нет», после которого ему ничего не оставалось бы, как только покориться.

– Что скажешь? – спросил князь, увидев поручика.

Скшетуский склонился к его ногам.

– Светлейший князь! Я пришел умолять вас о том, чтобы эту поездку в Сечь вы поручили мне. Быховец, как приятель, уступил бы ее мне, а она для меня все равно что жизнь. Он только боится, чтобы вы не разгневались на него.

– Ей Богу! – воскликнул князь. – Я бы никого другого и не послал, но думал, что ты неохотно поедешь, так как недавно вернулся из такого далекого путешествия.

– Если бы вы посылали меня хоть каждый день, я всегда охотно ездил бы в ту сторону.

Князь пристально посмотрел на него своими черными глазами и спросил:

– Что же у тебя там?

Поручик стоял смущенный, точно виноватый, и не мог вынести испытующего взгляда князя.

– Я вижу, что должен сказать всю правду, так как от вашей светлости ничего не может укрыться. Не знаю только, могу ли я надеяться, что вы благосклонно выслушаете меня.

И начал рассказывать князю, как познакомился с дочерью князя Василия, как влюбился в нее и как хотел бы теперь повидаться с нею, а по возвращении из Сечи – привезти ее в Лубны, чтобы укрыть ее от татарского бунта и от Богуна; он умолчал только о проделках старой княгини, так как был связан честным словом. При этом он опять стал так горячо умолять князя дать это поручение ему, что тот сказал:

– Я бы и так позволил тебе съездить туда и дал бы тебе людей, но раз ты так умно рассудил все, то пусть будет по-твоему.

Сказав это, он хлопнул в ладоши и велел пажу позвать Быховца.

Поручик от радости поцеловал руку князя тот обнял его и велел успокоиться. Он чрезвычайно любил Скшетуского как дельного офицера и воина, на которого во всем можно было положиться. Кроме того, между ними существовала еще та связь, которая может существовать между подчиненным, обожающим своего начальника, и начальником, знающим и чувствующим это. Около князя вертелось немало людей, льстивших ему из корысти, но орлиный взор Иеремии хорошо видел все. Он видел, что Скшетуский чист как слеза, потому ценил его и благоволил к нему.

Князь обрадовался, узнав, что его любимец полюбил дочь Василия Курцевича, старого слуги Вишневецких, память о котором была ему тем дороже, чем сильнее было его несчастье.

– Я не забыл заслуг князя Василия, но не заботился до сих пор об его дочери, потому что опекуны ее не заглядывали в Лубны и на них не поступало никаких жалоб. Но так как ты напомнил о ней, то я буду заботиться о сироте, как о своей родной дочери.

Слыша это, Скшетуский не мог надивиться доброте этого человека, который упрекал себя за то, что, будучи завален общественными делами, не занялся судьбой дочери своего старого воина и придворного.

Тем временем пришел Быховец.

– Послушай, – обратился к нему князь, – данного слова я вернуть не могу: если захочешь – поедешь, но прошу – сделай это для меня и уступи поручение Скшетускому. У него есть на то уважительные, серьезные причины, а для тебя я придумаю другое дело.

– Милостивый князь, – ответил Быховец, – вы оказываете мне высокую честь, предоставляя мне свободное решение, и я был бы не достоин ее, если бы не исполнил с признательностью вашей воли.

– Поблагодари же приятеля, – сказал князь Скшетускому, – и собирайся в путь.

Скшетуский горячо поблагодарил Быховца и через несколько часов был готов. Ему уже давно не сиделось в Лубнах, а теперь эта поездка отвечала всем его желаниям. Главное, он увидит Елену; правда, потом ему придется надолго расстаться с нею, но за время его отсутствия просохнут дороги. Раньше этого времени княгиня с Еленой все равно не могли бы приехать в Лубны, и Скшетускому пришлось бы или ждать их в Лубнах, или же сидеть у них в Разлогах, что, однако, не соответствовало бы его условию с княгиней, а что еще важнее, могло бы возбудить подозрение Богуна. Правда, в безопасности Елена была бы только в Лубнах, но раз уж ей надо было оставаться в Разлогах, то Скшетускому лучше всего было ехать, а на обратном пути взять ее и под охраной княжеского отряда привезти в Лубны.

Обдумав все это, поручик стал торопиться с отъездом; покончив со сборами, получив от князя письма и инструкции, а деньги на экспедицию – от казначея, он еще задолго до наступления ночи пустился в путь, взяв с собою Жендяна и сорок казаков из княжеского полка.

## Глава VII

Шла уже вторая половина марта. Трава густо зазеленела, степь зацвела и закипела жизнью. Скшетуский ехал, точно по морю, а колеблемая ветром трава казалась волнами. Все кругом было полно веселья и весеннего шума; степь гудела, точно лира, на которой играла рука божества.

Над головами всадников неподвижно парили в лазури небес ястребы, напоминая собою кресты; летели треугольники диких гусей и вереницы журавлей; в степи носились табуны диких лошадей. Вот бежит табун степных коней; видно, как они рассекают грудь траву и вихрем мчатся вперед и вдруг останавливаются как вкопанные, окружив полукругом всадников; гривы их развеваются, ноздри раздуваются, а глаза выражают удивление; со стороны посмотреть, кажется, что они хотят растоптать непрошенных гостей. Но через мгновение они исчезают так же быстро, как и появились; только шумит трава да мелькают в ней цветы. Топот умолкает, и снова слышится только пение птиц.

Тут было как будто и весело, а все-таки среди всей этой радости чувствовалась какая-то как бы затаенная грусть: и шумно, а все-таки пусто – зато какая ширь! Нельзя ни на коне, ни мыслью измерить ее. Надо полюбить эту грусть, эту степь, слиться с нею тоскующей душой, чтобы понимать голос пустыни и отвечать ей. Было утро. Крупные капли блестели на ковыле и бурьяне; резкие порывы ветра сушили дорогу, на которой, отсвечивая на солнце, словно озера, стояли огромные лужи. Отряд поручика подвигался медленно, так как лошади иногда по колена вязли в размякшей земле. Но поручик почти не давал им отдыхать: он торопился на свидание, а вместе с тем и на прощание.

На другой день, около полудня, проехав лес, он увидел наконец ветряные мельницы в Разлогах, разбросанные по холмам и пригоркам. Сердце его стучало, как молот. Никто его там не ждет, и никто не знает, что он приедет; что-то скажет она, когда увидит его?.. Вот уже и хаты, тонущие в молодых вишневых садах; далее раскинулась деревня – усадьба дворовых людей, а еще дальше виднелся на господском дворе колодец.

Скшетуский пришпорил коня и пустил его вскачь, а за ним, с шумом и криком, понеслись по деревне и казаки. Крестьяне выскакивали из хат и, смотря им вслед и крестясь, говорили:

– Черти не черти, татары не татары!

А из-под копыт разлеталась такая страшная грязь, что нельзя было и узнать, кто это летит. Всадники тем временем долетели до усадьбы и остановились перед закрытыми воротами.

– Эй, кто там! Отворяй!

Шум, стук и собачий лай вызвали на крыльцо всю дворню. Испуганные, прибежали они к воротам, думая, что это какой-нибудь набег.

– Кто едет?

– Отворяй!

– Князей нет дома!

– Отворяй, басурманский сын! Мы от князя из Лубен!

Дворовые наконец узнали Скшетуского.

Они отворили ворота, а из сеней вышла сама княгиня и, прикрыв рукой глаза, смотрела на прибывших.

Скшетуский соскочил с коня и, подойдя к ней, спросил:

– Вы не узнаете меня, княгиня?

– Ах, это вы, поручик! А я думала, что это татарский набег. Милости просим в комнаты.

– Вы, наверное, удивлены, княгиня, видя меня здесь, – сказал Скшетуский, войдя уж в дом, – а между тем я не нарушил данного мною слова, это сам князь посылает меня в Чигирин и далее. При этом он велел мне заехать в Разлоги и справиться о вашем здоровье.

– Благодарю господина и благодетеля за его княжескую ласку. А скоро он думает выгнать нас из Разлог?

– Он совсем и не думает об этом; а как я сказал, так и будет, вы останетесь в Разлогах. У меня довольно и своего хлеба.

Услышав это, княгиня просияла и сказала:

– Садитесь же, поручик. Я вам очень рада!

– А княжна здорова? Где она?

– Знаю уж я, что вы не ко мне приехали! Она здорова, здорова; еще даже похорошела от любви. Я сейчас ее позову, да и сама немного приберусь, а то стыдно принимать в таком виде гостей.

На княгине было платье из выцветшей холстины, кожух и смазные сапоги.

Узнав от татарина Чеглы, кто к ним приехал, Елена прибежала и без всякого зова. Она вбежала запыхавшись, красная, как вишня, и еле переводя дыхание; только глаза ее сияли счастьем и радостью.

Скшетуский бросился целовать ее руки, а когда ушла княгиня, начал целовать и в губы. Она, чувствуя себя обессиленной от избытка счастья и радости, не очень сопротивлялась этому.

– А я и не ждала вас, – шептала она, щуря свои прелестные глаза, – только не целуйте так – нехорошо!

– Как же мне не целовать вас, – отвечал Скшетуский, – если для меня ваши уста слаще меда! Я уж думал, что совсем иссохну без вас, но, к счастью, князь послал меня сюда.

– Разве князь знает?

– Я ему все рассказал... Он был даже рад, что я ему напомнил о князе Василии! Ох видно, вы опоили меня чем-нибудь, что без вас я и света Божьего не вижу!

– Это Божья милость для меня!

– А помните пророчество сокола, когда он соединил наши руки? Видно, уж это судьба!

– Помню...

– Когда я был в Лубнах, то с тоски уходил в Солоницу и там видел вас перед собою, точно живую; но как только, бывало, протяну к вам руки, вы исчезали! Зато теперь вы не скроетесь от меня; думаю, что больше нам уже ничто не помешает.

– Если что и помешает, то только не с моей стороны.

– Скажите мне еще раз, что любите меня!..

Елена опустила глаза, но сказала громко и отчетливо:

– Как никого на свете!

– Если бы кто осыпал меня золотом и почестями, то я предпочел бы им эти слова, так как чувствую в них правду, хоть и сам не знаю, чем мог заслужить от вас такое благодеяние.

– Тем, что пожалели, приголубили и заступились за меня и такими словами заговорили со мной, каких я никогда ни от кого еще не слышала.

Елена смолкла от волнения, а Скшетуский снова начал целовать ей руки.

– Вы будете моей госпожой, а не женой, – сказал он.

Наступило молчание; а Скшетуский, желая вознаградить себя за долгую разлуку, не спускал с Елены глаз. Она казалась ему еще прекраснее, чем прежде.

В этой полутемной комнате, при отблеске солнечных лучей, отражавшихся радужными цветами в оконных стеклах, она напоминала собою лики святых дев в мрачных церковных приделах. Вместе с тем от нее веяло такой теплотой и жизнью, столько чар было в ее лице и во всей фигуре, что можно было потерять от этого голову, влюбиться в нее до смерти, полюбить навеки.

– Я боюсь ослепнуть от вашей красоты, – сказал поручик.

Веселая улыбка обнажила белые зубки княжны.

– Наверное, Анна Барзобогатая во сто раз красивее меня?

– Ей так же далеко до вас, как медведю до луны!

– А мне ваш Жендян говорил совсем другое.

– Жендян – дурак, которого надо бить. Что мне за дело до нее! Пусть другие пчелы собирают мед с этого цветка, их там немало.

Дальнейший разговор был прерван приходом старого Чеглы, который пришел приветствовать поручика. Он уже считал его своим будущим господином и от самого порога стал отвешивать ему поклоны, здороваясь с ним по восточному обычаю.

– Ну, старый Чеглы, я и тебя заберу вместе с барышней. Уж служи ей до самой смерти.

– Недолго ждать ее, ваша милость; но пока я жив – буду служить!

– Через месяц, когда вернусь из Сечи, мы отправимся в Лубны, – сказал поручик, обращаясь к Елене, – а там нас ждет с налоем кзэндз Муховецкий.

– Так вы едете в Сечь? – испуганно спросила Елена.

– Мена посылает с письмами князь. Но не бойтесь: особа посла священна даже для басурман. Я бы отправил вас с княгиней в Лубны хоть сейчас, только дорога скверная. Сам видел, – не очень-то можно проехать, даже верхом.

– А сколько времени вы пробудете в Разлогах?

– Сегодня вечером еду в Чигирин. Чем скорей простимся, тем скорей свидимся. Это ведь княжеская служба: не мое время и не моя воля!

– Прошу закусить, если вы уже наворковались, – сказала, входя, княгиня. – Ого-го! Однако у барышни щечки красные, видно, вы не теряли даром времени, господин поручик! Впрочем, это меня не удивляет!

Сказав это, княгиня ласково потрепала Елену по плечу, и все пошли обедать. Княгиня была в отличном расположении духа. Она уже давно перестала горевать о Богуне, а теперь, благодаря великодушию Скшетуского, могла считать Разлоги со всеми хуторами, усадьбами и инвентарем своей собственностью. Поручик расспрашивал, скоро ли вернутся князья.

– Я жду их со дня на день. Сначала они сердились на вас, но потом, обсудив все ваши поступки, крепко полюбили вас как будущего родственника и говорят, что такого благородного рыцаря трудно уже найти в наше время.

После обеда поручик с Еленой вышли в вишневый сад, примыкавший ко рву. Сад был весь усыпан, точно снегом, ранним цветом; за садом чернела роща, где куковала кукушка.

– Это она нам предвещает счастье, – сказал Скшетуский, – надо только спросить ее.

И, повернувшись к роще, спросил:

– Кукушка, кукушка! Сколько лет я буду жить в супружестве с этой барышней?

Кукушка начала куковать. Они насчитали больше пятидесяти.

– Дай Бог, – отозвался Скшетуский.

– Кукушки всегда говорят правду, – заметила Елена.

– А если так, то я еще спрошу! – сказал поручик.

– Кукушка, кукушка! А сколько будет у нас сыновей?

Кукушка, словно по заказу, прокуковала ни больше, ни меньше, как ровно двенадцать. Скшетуский не помнил себя от радости.

– Буду старостой, видит Бог! Вы слышали?

– Ничего я не слышала, – ответила красная, как вишня, Елена, – я даже не знаю, о чем вы спрашивали.

– Так, может быть, повторить?

– Нет, не надо!

В разговоре да в забавах день прошел для них, словно сон. Вечером настала минута трогательного и долгого прощания... Поручик направился в Чигирин.

## Глава VIII

Скшетуский застал старого Зацвилюховского в сильном волнении и тревоге; он с нетерпением поджидал княжеского гонца, потому что из Сечи доносились все более и более грозные вести. Не было уже никакого сомнения в том, что Хмельницкий готовился вооруженной силой добиваться восстановления старинных казацких привилегий. Зацвилюховский узнал, что Хмельницкий был у хана, прося у него помощи, и что его ожидали в Сечи со дня на день. На Низовьи готовился грозный подход против Польши, который, благодаря помощи татар, мог оказаться для нее губительным. Буря надвигалась все ближе, обещая быть грозной. По Украине носились уже не туманные и неясные слухи, а вполне определенные известия о походах. Великий гетман, сначала не обращавший большого внимания на это дело, подошел теперь со своим войском ближе к Черкассам; отдельные отряды коронных войск доходили до самого Чигирина с целью воспрепятствовать бегству казаков и черни, которые массами уходили в Сечь. Шляхта скучала в городах. Говорили, что в южных воеводствах будет объявлено поголовное ополчение. Некоторые, не ожидая даже набора, отсылали детей и жен в замки, а сами шли под Черкасы. Несчастливая Украина разделилась на две половины: одна стремилась в Сечь, другая – в коронное войско; одна стояла за существующий порядок вещей, другая – за дикую свободу; одна хотела сохранить то, что было плодом векового труда, другая – отнять это достоинство. Обе стороны готовились вскоре обагрить свои руки братской кровью.

Однако хотя черные тучи и нависли над украинским горизонтом, хотя от них и падала зловещая тень, хотя все внутри шумело и бродило, а громы перекатывались из одного конца на другой – люди все-таки не отдавали себе отчета, насколько сильна будет эта буря. Может быть, Хмельницкий, посылая краковскому казацкому комиссару и коронному хорунжему письма, наполненные жалобами и сетованиями, а вместе и клятвами в верности Владиславу IV и Польше, сам не знал, что из этого выйдет. Хотел ли он выиграть время или, может быть, предполагал, что какое-нибудь соглашение может положить конец разладу? Об этом разное судили, и только двое людей, Зацвилюховский да старый Барабаш, не заблуждались ни одной минуты.

Старый полковник тоже получил письмо от Хмельницкого – дерзкое, грозное и полное оскорблений.

«Мы со всем запорожским войском, – писал он, – станем горячо просить и требовать признания тех привилегий, которые Ваша милость скрывали у себя. А так как ты таил их ради собственной корысти и выгод, то все запорожское войско считает тебя достойным быть полковником у овец или свиней, но не у людей. Я же лично прошу Вашу милость простить меня, если я в Николин день не угодил Вам чем-нибудь в моем убогом домишке и что уехал в Сечь без Вашего ведома и позволения».

– Посмотрите, господа, – говорил Барабаш Зацвилюховскому и Скшетускому, – как он насмехается надо мной, а ведь я учил его военным приемам и был ему настоящим отцом.

– Он говорит, что со всем запорожским войском будет домогаться признания привилегий? – спросил Зацвилюховский. – Значит, это будет междоусобная война, сама страшная из всех войн.

– Я вижу, что мне нужно поторопиться, – сказал на это Скшетуский, – дайте мне, господа, письма к тем, с кем мне предстоит войти в сношения.

– Есть у вас письмо к кошевому атаману?

– Есть, от самого князя.

– Ну так я дам письмо к одному куренному атаману, а у Барабаша там есть родственник, тоже Барабаш. От них и узнаете все. Но кто знает, не опоздала ли эта экспедиция. Князь хочет

разведать, что слышно там? Ответ короток: злые вести! А если он хочет знать, как поступить, то на это совет короток: собрать как можно больше войска и соединиться с гетманами.

– В таком случае пошлите князю гонца с советом, – сказал Скшетуский, – а я должен ехать, куда послан, и не могу отменить решение князя.

– А знаете ли вы, что это страшно опасная поездка? – сказал Зацвилюховский. – Народ здесь так возбужден, что если бы не близость коронных войск, то чернь бросилась бы на нас. Так что же тогда там? Это все равно, что прямо лезть в змеиную пасть.

– Господин хорунжий! Иона был во чреве кита, не то что в пасти, а все-таки с Божией помощью вышел оттуда невредимым.

– Тогда поезжайте. Такая решимость похвальна. До Кудака можете доехать безопасно, а там уже увидите, что надо делать дальше. Гродзицкий – старый воин, он лучше всех научит вас. А к князю я, наверное, поеду сам; если на старости лет мне придется драться, то уж лучше под его начальством, а не под чьим иным. А пока я приготовлю вам байдак и перевозчиков, которые доставят вас в Кудак.

Скшетуский вышел и прямо отправился на свою квартиру подле рынка в доме князя, чтобы окончить последние приготовления к отъезду. Несмотря на опасности этого путешествия, о которых ему говорил Зацвилюховский, он не без удовольствия думал о нем. Ему предстояло увидеть пороги и Днепр почти на всем его протяжении, до низовья; а в то время страна эта казалась каждому рыцарю каким-то заколдованным, таинственным краем, манившим к себе всякого любителя приключений. Многие, прожив всю свою жизнь на Украине, не могли похвастать, что видели Сечь, – разве только те, что поступали в запорожцы; но теперь между шляхтой не находилось охотников, так как времена Самка Сборовского миновали и никогда не могли повториться.

Раздор между Сечью и Польшей, начавшийся во времена Наливайки и Павлюка, не только не прекращался, но, наоборот, постоянно возрастал, и наплыв в Сечь дворян – не только польских, но и русских, не отличавшихся от низовцев ни языком, ни религией, – значительно уменьшился. Такие люди, как Булыги-Курцевичи, мало находили себе подражателей. Вообще теперь на Низовье к запорожцам шляхту могло загнать только какое-нибудь несчастье или необходимость.

Потому-то Запорожье – эту казацкую республику – окутывала какая-то непроницаемая, зловещая мгла. О нем рассказывали чудеса, и Скшетускому хотелось увидеть их собственными глазами. Он несколько не сомневался в том, что вернется оттуда, потому что посол – везде посол, в особенности если он от князя Иеремии.

Так раздумывал он, смотря из окна своей квартиры на рынок. Прошел час, два... Вдруг Скшетускому показалось, что на улице мелькнули две знакомые ему фигуры, направлявшиеся к лавке валаха Допуло.

Присмотревшись внимательно, он узнал в них Заглобу и Богуна. Они шли под руку и вскоре исчезли в темных дверях, над которыми торчала вывеска, указывавшая, что здесь шинок и винная лавка.

Поручика удивило пребывание Богуна в Чигирине и дружба его с Заглобой.

– Жендя! Поди сюда! – крикнул он. Мальчик показался в дверях соседней комнаты.

– Слушай-ка, Жендя, походи в шинок вон под той вывеской; там ты увидишь толстого шляхтича с дырой на лбу; скажи ему, что кто-то желает его видеть по очень спешному делу. Если он спросит кто – не говори.

Жендя побегал, и через некоторое время поручик увидел его возвращающимся в сопровождении Заглобы.

– Здравствуйте! – сказал Скшетуский, когда в дверях показался шляхтич. – Вы узнаете меня?

– Помню ли я? Да пускай татары перетопят меня на сало и сделают из меня свечи для своих мечетей, если я забыл вас! Вы несколько месяцев тому назад отворили дверь у Допуло Чаплинским, что мне особенно понравилось, потому что точно таким же способом я освободился из тюрьмы в Стамбуле. А что подельывает Повсинога, герба «Сорви штаны»... со своей невинностью и мечом? А воробьи все еще садятся ему на голову, принимая его за сухое дерево?

– Подбипента здоров и велел вам кланяться.

– Это очень богатый шляхтич, но страшно глупый. Если он отрежет три таких головы, как его собственная, то надо считать их за полторы. Уф! Страшная жара, а ведь еще только март! Язык прилипает к гортани!

– Есть у меня старый хороший мед, не позволите ли?

– Отказывается только дурак, когда ему предлагает умный человек. Мне цирюльник посоветовал пить именно мед, чтобы оттянуть меланхолию от головы... Тяжкие времена настают теперь для шляхты. Чаплинский чуть не умирает со страха, к Допуло совсем не ходит, потому что там пьют теперь казацкие старшины. Один я храбро подставляю свою голову под опасности и вожу компанию с казацкими полковниками, хотя от них и несет дегтем... А хороший мед, действительно очень старый! Где вы его добыли?

– В Лубнах... Так вы говорите, что здесь много старшин?

– Кого тут только нет! Тут и Федор Якубович, и старый Филон Деяла, и Даниил Нечай, а с ними и Богун, их сучок в глазу, который сделался моим приятелем с тех пор, как я его перепил и обещал ему свое покровительство. Все они торчат тут в Чигирине и высматривают, на какую сторону перейти. Они еще не смеют открыто принять сторону Хмельницкого, и если не присоединятся, то это будет моя заслуга.

– Каким же это образом?

– Распивая с ними вино, я в то же время вербую их для Польши и уговариваю быть верными королю. Если король не сделает меня за это старостой, то, верьте мне, в Польше нет ни справедливости, ни наград по заслугам, и тогда лучше высиживать кур, чем рисковать своей головой рго рубtico боло.

– Лучше бы рисковали ею в борьбе с бунтовщиками, чем даром бросать деньги на их угощение! Этим путем вы не привлечете их к себе.

– Я бросаю деньги? За кого же вы меня принимаете? Разве мало того, что я вожусь с хамами, чтобы еще платить за них деньги? Я считаю для них честью свое позволение платить за себя!

– А что же здесь делает этот Богун?

– Он так же, как и другие, насторожил уши и прислушивается к тому, что слышно в Сечи. Он затем и приехал сюда. Это любимец всех казаков, они и заискивают и лебезят перед ним, точно обезьяны, потому что знают, что переяславский полк пойдет за ним, а не за Лободой. А кто знает, за кем пойдут казаки Кшечовского? Богун – товарищ низовцам, если надо идти против турок или татар, но теперь он раздумывает, потому что в пьяном виде признался мне, что влюблен в одну шляхтянку и хочет на ней жениться, а потому говорит, что не годится ему накануне свадьбы братаваться с холопами. Вот он и хочет, чтобы я взял его под свое покровительство и помог ему получить герб. Но до чего хорош мед!

– Выпейте еще!

– Выпью, выпью. Под вывеской такого меду не купишь.

– А вы не спрашивали его, как зовут шляхтянку, на которой он хочет жениться?

– А на что мне ее имя? Знаю только, что когда я ему поставлю рога, то ее будут звать госпожой оленихой.

Поручик почувствовал сильное желание дать Заглобе в ухо, но последний, ничего не замечая, продолжал:

– Я в молодости был красавцем. Если бы только я вам рассказал, за что принял мученический венец в Гапате? Видите эту дыру на лбу? Достаточно, если я вам скажу, что мне ее пробрили в гареме евнухи паши.

– А ведь вы же говорили, что ее пробрила разбойничья пуля?

– Говорил?! И верно, говорил! Каждый ведь турок разбойник.

Дальнейший разговор был прерван приходом Зацвилюховского.

– Ну, господин поручик, – сказал старый хорунжий, – байдаки готовы, перевозчики – народ надежный. Трогайтесь с Богом хоть сейчас. А вот и письма!

– Я сейчас прикажу людям идти на берег.

– А куда это вы собираетесь? – спросил Заглоба.

– В Кудак.

– Горячо вам там придется!

Но поручик уже не слышал его предостережений; он вышел во двор, где при лошадях стояли казаки, почти совсем готовые в путь.

– На коней и на берег! – скомандовал Скшетуский. – Лошадей поставить на паромы и ждать меня!

А оставшийся в комнате старый хорунжий, обратясь к Заглобе, сказал:

– Я слышал, что вы братаетесь теперь с казацкими полковниками и пьете с ними?

– Это для общего блага, господин хорунжий!

– Вы отличаетесь блестящим остроумием; кажется, что его у вас больше, чем стыда. Вы хотите задобрить казаков, чтобы, в случае их победы, они остались вашими приятелями.

– Неудивительно, что, пострадав раз от турок я не хочу терпеть и от казаков: два лишних гриба могут испортить самый лучший борщ. А что касается стыда, то я никого не прошу делить его со мной; я выпью его сам, и, даст Бог, он не будет хуже вот этого меда. В конце концов, моя заслуга, как масло, всплывет наверх.

В это время вернулся Скшетуский.

– Люди уже трогаются, – сказал он.

– Счастливого пути! – сказал Зацвилюховский, наливая чарку.

– И благополучного возвращения, – прибавил Заглоба.

– Вам хорошо будет ехать, потому что вода высока.

– Садитесь, господа, выпьем остальное... Бочонок ведь невелик!

Они присели и выпили.

– Вы увидите интересный край, – сказал Зацвилюховский. – Кланяйтесь Гродзицкому в Кудак. Вот солдат так солдат! Сидит на краю света, далеко от гетманского глаза, а порядок у него такой, что дай Бог, чтобы такой был во всей Польше. Я хорошо знаю Кудак и все пороги. В прежние времена я частенько ездил туда, а теперь болит душа, как подумаешь, что это произошло, миновало безвозвратно, а теперь...

И хорунжий опустил свою седую голову на руки и глубоко задумался. Наступило молчание. Слышен был только топот коней: это люди Скшетуского выезжали на берег к байдакам.

– Боже, – сказал Зацвилюховский, выходя из задумчивости, – прежде было лучше. Вот, как сегодня, помню, что под Хотином – это было двадцать семь лет тому назад, когда гусары Любомирского шли в атаку на янычар, – казаки в своих окопах бросали шапки и кричали Сагайдачному так, что земля дрожала: «Пусты, братку, умираты с ляхами». А теперь что? Теперь Низовье, которое должно быть оплотом христианства, пускает в пределы Польши татар, чтобы наброситься и на них, когда те будут возвращаться с добычей. Даже хуже: Хмельницкий прямо заключает союз с татарами, в (компании с которыми будет резать христиан.

– Выпьем с горя, – прервал Заглоба, – ну что за мед!

– Пошли мне, Боже, скорее смерть, чтобы не видеть этой международной войны, – продолжал старый хорунжий. – Этой кровью смоются обоюдные ошибки, но она не будет искупить

тельной кровью, потому что восстанет брат на брата! Кто на Низовье? Украинцы. Кто в войске князя Иеремии? Украинцы. Кто в отрядах? Украинцы. А мало их в коронной войске? А я сам кто? О, несчастная Украина. Крымские басурмане наденут тебе на шею цепь, и будешь ты томиться на турецких галерах.

– Не говорите так, – сказал Скшетуский, – иначе мы все расплачемся. Может быть, солнце еще и засветит нам!

В эту минуту заходило солнце, и последние лучи его озаряли красным светом белые волосы хорунжего.

В городе зазвонили к вечерней молитве.

Они вышли: Скшетуский пошел в костел, Зацвилюховский – к Допуло, в «Звонарный Угол»:

Было уже совсем темно, когда они снова сошлись на берегу, у пристани. Люди Скшетуского уже сидели в лодках. Холодный ветер дул с устья Днепра, и ночь не обещала быть ясной. При свете разведенного на берегу костра река отливала кровавым отблеском и с невероятной быстротой неслась в какую-то неведомую даль.

– Ну, счастливого пути, – сказал хорунжий, сердечно пожимая руку молодому человеку. – Смотрите, будьте осторожней!

– Постараюсь. Даст Бог, скоро увидимся!

– Разве в Лубнах или в княжеском войске.

– Так вы уже наверняка к князю?

Зацвилюховский передернул плечами.

– А что же мне делать? Война так война.

– Будьте же здоровы, господин хорунжий!

– Да хранит вас Бог!

– До свидания! – кричал Заглоба. – Если вас занесет водой в Стамбул, то кланяйтесь ему от меня! А впрочем, ну его к черту! Но какой же у вас был славный мед! Брр! Как тут холодно.

– До свидания!

– До свидания!

– С Богом!

Весла закрипели и ударились о воду, байдаки поплыли. Огонь горящего на берегу костра начал быстро отдаляться. Долго еще видел Скшетуский освещенную пламенем седую голову хорунжего, и какая-то тоска вдруг сжала его сердце. А вода уносила его все дальше и дальше и от возлюбленной, и от друзей, и от родных мест; уносила неумолимо, как судьба, в дикую страну, во мрак...

Они выплыли из устья Тасьмины в Днепр.

Ветер свистел, а весла издавали однообразный, унылый звук. Перевозчики запели песню. Скшетуский завернулся в бурку, и лег в постель, которую ему приготовили солдаты. Он стал думать о Елене, о том, что она до сих пор не в Лубнах, что Богун остался, а он уезжает. Страх, злое предчувствие и тревога напали на него, как вороны. Он старался побороть их, мысли его спутались, странно как-то смешались со свистом ветра, плеском весел и песнями рыбаков – и наконец он уснул.

## Глава IX

На другой день утром Скшетуский проснулся свежий, бодрый и в более веселом расположении духа Широко разлившиеся воды покрылись мелкой зыбью от легкого, теплого ветра. Туманные берега сливались с водой в одно необозримое пространство, так что Жендян, проснувшись и протерев глаза, даже испугался. Он удивленно посмотрел кругом и, не видя нигде берега, воскликнул:

– Боже мой! Да никак мы в море?

– Это большая река, а не море, – ответил Скшетуский, – а когда спадет туман, ты увидишь и берега.

– Нам, пожалуй, скоро придется отправляться в Туречину.

– И отправимся, если прикажут... Впрочем, видишь, не одни мы плывем здесь.

Действительно, на реке виднелось несколько байдаков, домбозов или тумбозов и узких черных казачьих лодок, называемых в общежитии чайками. Некоторые из них плыли вниз по реке, несомые быстрым течением, – другие, с помощью весел и парусов, с трудом карабкались вверх. Они везли рыбу, воск, соль и сушеные вишни в прибрежные города или же возвращались из окрестностей с запасами провизии для Кудака и с товарами, находящими легкий сбыт на мелочном базаре в Сечи. Берега Днепра от самого устья Псела представляли настоящую пустыню, в которой только кое-где белели казацкие зимовья; река служила дорогой, соединявшей Сечь с остальным миром, поэтому на ней происходило значительное движение, в особенности когда прибыль воды облегчала судоходство и даже пороги, исключая, конечно, Ненасытца, делались проходимыми для лодок.

Поручик с любопытством приглядывался к этой жизни на реке, а байдарки его тем временем быстро неслись к Кудаку. Туман рассеялся, и берега уже ясно были видны. Над головами их носились миллионы водяных птиц: пеликанов, диких гусей, журавлей, уток и чаек, а в прибрежных камышах слышался страшный шум и бульканье воды, точно там происходила война или сейм пернатых.

За Кременчугом берега стали ниже и открытее.

– Смотрите-ка! – воскликнул внезапно Жендян. – Солнце печет, а на полях лежит снег.

Скшетуский взглянул: по обеим сторонам реки блистал в солнечных лучах какой-то белый покров.

– Эй, старший! Что это там белеется? – спросил Скшетуский у рулевого.

– Это вишни, – отвечал тот.

Действительно, это были вишневые леса, широко разросшиеся по обоим берегам за устьем Псела. Их сладкие, крупные ягоды служили кормом для птиц, зверей и заблудившихся людей, а также составляли один из главных предметов торговли; их возили водой в Киев и далее. Теперь эти леса были осыпаны цветом. Когда скшетуский с людьми подъехали к берегу, чтобы дать отдых гребцам, он с Жендяном вышли на берег, чтобы поближе взглянуть на эти рощи. Их обдало таким опьяняющим запахом, что трудно было дышать. Земля была усыпана белыми лепестками. Местами деревца образовывали непроходимую чащу. Между вишневыми деревьями росли в изобилии дикие, низкорослые миндальные деревца, покрытые розовыми цветами, пахнувшими еще сильнее вишневых.

Миллионы пчел, шмелей и разноцветных бабочек носились над этим пестрым морем цветов, которому не видно было конца.

– Чудеса! Чудеса! – говорил Жендян. – И отчего люди не живут здесь? Ведь тут, я вижу, довольно и зверей?

Между вишневыми кустами мелькали серые зайцы и бесчисленные стаи больших голубоногих перепелок. Жендян застрелил даже несколько штук, но, к великому огорчению, узнал от проводников, что мясо их ядовито.

На мягкой земле виднелись следы оленей и диких коз, а издали неслись звуки, похожие на хрюканье диких кабанов.

Путешественники, отдохнув и насмотревшись, двинулись дальше. Берега то подымались, то опускались, открывая взору чудные виды на дубравы, на леса, урочища, курганы и обширные степи. Окружающая местность была так красива, что Скшетуский невольно повторил вопрос Жендяна: почему тут не живут люди? Но для того чтобы устроить эту местность и защитить ее от нападений татар и низовцев, нужен был второй такой человек, как князь Иеремия Вишневецкий. Местами река делала повороты, заливала ярче, пенистыми волнами билась о прибрежные скалы и наполняла водой темные пещеры. В таких-то именно скалах и поворотах прятались казаки. Устья рек, впадавших в Днепр, поросли лесом, очеретами и от множества птиц казались почти черными. Словом, перед глазами наших путников расстилался дикий, пустынный и полный таинственности край.

Вскоре, однако, путешествие сделалось довольно неприятным, потому что день был очень жаркий и, кроме того, появились целые рои комаров и других неизвестных в степи насекомых, от укуса которых кровь лилась струйками.

Вечером путники приехали к острову Романовка, огни которого были видны еще изда-лека, и остановились там на ночлег. У рыбаков, сбжавшихся посмотреть на отряд поручика, лица, руки и рубахи были вымазаны дегтем для защиты от укусов насекомых. Это были грубые, дикие люди. Они весной толпами съезжались сюда для ловли и копчения рыбы, которую развозили потом в Чигирин, Черкассы, Переяславль и Киев. Ремесло их было хотя и трудно, но – прибыльно, благодаря обилию рыбы, которое летом становилось настоящим бедствием для окрестностей, потому что рыба, издыхая от недостатка воды, заражала воздух гнилью.

Поручик узнал от рыбаков, что все запорожцы, которые наравне с ними занимались здесь рыбной ловлей, несколько дней тому назад оставили остров и ушли в Сечь по призыву кошевого атамана.

По ночам с острова видны были огни костров, которые жгли в степях беглецы, направлявшиеся в Сечь. Рыбаки знали, что готовится поход на ляхов, и нисколько не скрывали этого от поручика.

Скшетуский видел уже сам, что его экспедиция может действительно оказаться запоздалой, потому что прежде чем он приедет в Сечь, полки казаков могут двинуться на север; но ему было приказано идти, и он, как настоящий воин, шел, не раздумывая, решив, в случае надобности, врезаться хотя бы в самый центр казацкого войска.

На следующий день, рано утром, отряд двинулся дальше. Они уже миновали чудный Таренский Уюль, Сухую Гору и Конский Острог, славившийся своими болотами и множеством гадов, вследствие которых он был необитаем. Все это вместе взятое – и дикая местность, и быстрота течения – указывало на близость порогов. Наконец на горизонте показалась Кудакская башня – первая половина путешествия была кончена.

Однако поручик в тот вечер не попал в замок, потому что у Гродицкого был заведен такой порядок: после пробитой с заходом солнца вечерней зори никого не впускать и не выпускать из замка, и если бы приехал даже сам король, то он должен был бы ночевать в Слободке, расположенной у крепостного вала.

То же сделал и Скшетуский. Правда, ночлег был не особенно удобен, поскольку вылепленные из глины хаты Слободки были так низки, что в них приходилось вползать согнувшись. Других же не стоило строить, потому что при каждом татарском набеге крепость обращала их в прах, чтобы не давать врагам места для защиты и удобного приступа на валы. Жили в этой Слободке «захожие люди», то есть разные бродяги из Польши, Руси, Крыма и Валахии. Все они

были разных религий, но там их никто не спрашивал об этом. Они не занимались земледелием, опасаясь нападений Орды, питались рыбой и хлебом, доставляемым из Украины, и занимались разными ремеслами, за что ими и дорожили в замке.

Поручик не мог сомкнуть глаз из-за страшного запаха конских шкур, из которых в Слободке выделывались ремни. На другой день, с рассветом, как только прозвонили и протрубили утреннюю зорю, он дал знать в замок, что приехал послом от князя и просит принять его. Гродицкий, у которого было свежо еще в памяти посещение князя, сам вышел к нему навстречу. Это был человек лет пятидесяти, одноглазый, как циклоп, мрачный и одичавший от долгого пребывания в пустыне, на краю света, без общества людей. Неограниченная власть, которой он пользовался, придавала ему много солидности и серьезности. Лицо его было обезображено оспой, рубцами и шрамами, похожими на белые пятна на темной коже. Это был настоящий солдат, чуткий, как журавль, с вечно устремленным в сторону татар и казаков взглядом. Он пил исключительно воду, спал только семь часов в сутки и часто вскакивал ночью, чтобы посмотреть, хорошо ли стража оберегает крепостные валы; за малейшее упущение он иногда забивал солдат насмерть. Снисходительный к казакам, хотя и суровый, он сумел заслужить их уважение. Иногда зимой, когда в Сечи было, голодно, он помогал им хлебом.

Это был руссин прежнего покроя, вроде тех, что некогда ходили в степи с Пшеславом Лянскоронским и Самкой Сборовским.

– Так вы едете в Сечь? – спросил он Скшетуского, введя последнего в замок и любезно угостив его.

– Да, в Сечь. А какие у вас вести оттуда, господин комендант?

– Война! Кошевой атаман собирает казаков со всех речек, лугов и островов. Из Украины беглецы все идут и идут, хотя я их задерживаю как только могу. Там, наверное, наберется тысяч тридцать войска, если не больше, а когда они двинутся на Украину и к ним присоединятся городские казаки и чернь, будет и сто тысяч.

– А Хмельницкий?

– Со дня на день его ждут из Крыма с татарами. Может быть, он уже вернулся. Говоря правду, вам незачем было бы и ехать в Сечь, так как вскоре они будут здесь; что они не минуют Кудака и не оставят его за собой, это наверное.

– А вы можете защититься?

Гродицкий мрачно посмотрел на Скшетуского и твердым, спокойным голосом сказал:

– Нет, я не могу.

– Как так?

– У меня нет пороха. Я послал двадцать с лишним челноков за ним, чтобы прислали хоть немного, но до сих пор не присылают. Не знаю, перехватили ли гонцов, или у них самих нет, не знаю. У меня есть немного, но его хватит только на две недели, не больше. Если бы его у меня было достаточно, то я взорвал бы на воздух Кудак, прежде чем в него вступила бы казацкая нога. Приказано мне лежать тут – лежу, приказано бодрствовать – бодрствую, приказано грызться – грызусь, а если придется погибнуть – сумею сделать и это.

– А разве вы сами не можете готовить порох?

– Вот уже два месяца как казаки не пропускают ко мне селитры, которую приходится привозить с берегов Черного моря. Все равно! Погибнем!

– Нам надо учиться у вас, старых воинов! А если бы вы сами поехали за порохом?

– Я Кудак не оставлю и оставить не могу; тут я жил, тут и умру. А вы не думайте, что едете на пир и торжественный прием, которыми встречают послов, что вас оградит ваше посольское звание. Ведь они убивают даже собственных атаманов, и с тех пор, как я здесь сижу, не помню, чтобы который-нибудь из них умер своей смертью. Погибнете и вы.

Скшетуский молчал.

– Я вижу, что вы упали духом, лучше не ездите.

– Господин комендант! – с гневом ответил на это поручик. – Придумайте что-нибудь получше, чтобы напугать меня, потому что все это я уже слышал, по крайней мере, раз десять. Вы мне советуете не ехать и, наверное, на моем месте не поехали бы туда; вообще же я вижу из всего сказанного вами, что у вас не хватит не только пороха, но и смелости на то, чтобы защищать Кудак.

Гродицкий, вместо того чтобы рассердиться, приветливо посмотрел на поручика.

– Зубастая штука! – пробормотал он. – Простите мне. Из вашего ответа я вижу, что вы сумеете поддержать достоинство князя и шляхты. Я вам дам пару чаек, потому что на байдаках нельзя проехать через пороги.

– Об этом именно я и хотел вас просить.

– Около Ненасытца велите их тащить волоком, потому что хотя вода и высока, но там никогда нельзя проехать – еле-еле может проскочить какая-нибудь маленькая лодочка, – а когда уже минуете пороги, будьте осторожней, чтобы вас не поймали, и помните, что железо и свинец – красноречивее слов. Там ценятся только смелые люди. Чайки будут готовы завтра утром, я велю только приделать к ним по второму рулю, потому что на порогах мало одного.

С этими словами Гродицкий повел поручика, чтобы показать крепость и ее устройство. Всюду царствовал образцовый порядок И днем и ночью бодрствовала на валах стража, которая постоянно укреплялась и увеличивалась татарскими пленниками.

– Каждый год я возвышаю вал на локоть, – сказал Гродицкий, – и он уже так вырос, что если бы у меня был порох, то и сто тысяч казаков ничего не могли бы поделаться со мной. Но без пороха я не могу защищаться, потому что силы их будут больше.

Крепость действительно была неприступна, так как, кроме пушек, ее защищали обрывы Днепра и скалы, круто спускавшиеся в воду. Она не требовала даже большого гарнизона, поэтому в ней было не более шестисот солдат, но зато самых отборных, хорошо вооруженных мушкетами и самопалами. Днепр в этом месте был так узок, что пущенная с вала стрела далеко перелетала на другой берег. Крепостные пушки были пригодны для обстрела как обоих берегов, так и окрестностей. Кроме того, в полумиле от крепости стояла высокая башня, откуда было видно на восемь миль кругом, а в ней помещалось сто солдат, к которым Гродицкий заглядывал каждый день. Увидев в окрестностях каких-нибудь подозрительных людей, они немедленно давали знать об этом в крепость, где тотчас же били тревогу, и весь гарнизон становился под ружье.

– Не проходит ни одной недели без тревоги, – говорил Гродицкий, – татары, как волки, шлеплются здесь ордами в несколько тысяч, которые мы разгоняем пушками; часто стража принимает табуны диких коней за татар.

– И не надоело вам сидеть в таком безлюдии? – спросил его Скшетуский.

– Если бы мне предложили место в палатах, то я все-таки предпочел бы остаться здесь. Я здесь больше вижу, чем король из своего окна в Варшаве.

И действительно, с вала виднелось необозримое пространство степей, казавшееся теперь сплошным морем зелени; на севере виднелось устье Самары, а на юге – все течение Днепра, скалы, пропасти, леса до самого Сульского порога.

Вечером они осмотрели башню; Скшетуский первый раз видел такую затерявшуюся в степи крепость, и потому все возбуждало его любопытство. Тем временем для него были приготовлены в слободке чайки, снабженные двумя рулями каждая, Скшетуский предполагал выехать на следующий день утром. Он не ложился спать, всю ночь раздумывая над тем, что предпринять против опасности, которой грозила ему поездка в страшную Сечь. Жизнь, правда, улыбалась ему. Он был молод, любил и был любим. Однако честь и славу он любил больше жизни. Он был уверен в близости-войны; его охватила тревога и страшная душевная боль при мысли, что Елена, ожидая его в Разлогах, могла подвергнуться страшной беде и нападению не только со стороны Богуна, но также и дикой разнузданной черни. Степи, должно

быть, уже подсохли, и, наверное, можно уже проехать из Разлог в Лубны, а между тем он сам просил княгиню с Еленой ждать его возвращения. Он не предвидел, что буря может разразиться так скоро, и не знал, чем грозит ему эта поездка в Сечь. Он быстрыми шагами ходил по комнате, рвал бороду и ломал руки. Что ему делать? Как быть? Он уже мысленно видел Разлоги в пламени, окруженные разъяренной чернью, более похожей на демонов, чем на людей. Его шаги уныло звучали под крепостными сводами, и ему уже казалось, что это враги идут за его Еленой. На валах протрубили сигнал к тушению огней, а ему казалось, что это отголосок Богунова рога, и он скрежетал зубами и хватался за рукоятку сабли. Ах, и зачем он напросился на эту поездку и помешал ехать Быховцу?

Жендян, спавший у порога, заметил волнение поручика, встал, протер глаза, поправил факел, горевший в железном обруче, и начал вертеться по комнате, желая обратить на себя внимание своего господина.

Но поручик целиком погрузился в горестные мысли и все ходил, будя своими шагами заснувшее эхо.

– Господин, а господин! – сказал Жендян.

Скшетуский посмотрел на него стеклянными, бессмысленными глазами, потом вдруг очнулся от раздумья. – Жендян, ты боишься смерти? – спросил он.

– Кого? Смерти? Что вы говорите?

– Кто едет в Сечь, тот не возвращается.

– Так зачем же вы едете?

– Это мое дело, тебя это не касается. Только мне жаль тебя, ты ведь еще ребенок; и хоть ты удал, но и удалством ничего не возьмешь там. Возвращайся в Чигирин, а потом в Лубны.

Жендян почесал голову.

– Смерти-то я боюсь, а кто ее не боится, тот не боится Бога, ибо в Его воле и жизнь и смерть. Если вы добровольно идете на смерть, то это уж ваш грех, как господина, а не мой, как слуги; но все-таки я вас не оставляю, потому что я ведь не холоп какой-нибудь, а шляхтич, хотя и убогий, но с честью и не без самолюбия.

– Я знаю, что ты добрый слуга, но все-таки скажу тебе только одно: если не поедешь добровольно, то поедешь поневоле – иначе не может быть.

– Хоть убейте меня – не поеду. Вы думаете, что я какой-то Иуда и выдам вас на смерть?

И Жендян начал громко плакать. Скшетуский видел, что этим путем с ним ничего не поделаешь, а строго приказывать ему не хотелось, потому что Было жаль мальчика.

– Слушай, – сказал он ему, – помочь ты мне не сможешь, но я ведь тоже добровольно голову под меч класть не буду; а ты тем временем отвезешь в Разлоги письма, которые мне важнее жизни. Скажешь там княгине и князьям, чтобы они немедленно отвезли княжну в Лубны, иначе их захватят бунтовщики; ты должен настоять, чтобы они исполнили это. Видишь, я поручаю тебе дело, которое доверяют только другу, а не слуге.

– Лучше пошлите кого-нибудь другого, с письмами каждый поедет.

– А кому же мне тут довериться? Ты поглупел! Повторяю тебе: этим ты вдвойне спасешь мне жизнь. Я измучился, думая о том, что может случиться с княжной.

– Ах, Боже мой! вижу, что надо ехать, но мне так жаль вас, что если бы вы мне подарили свой пояс, то и тогда я не утешился бы.

– Получишь и пояс, только исполни хорошенько мое поручение.

– Не хочу я и пояса, только позвольте мне ехать с вами.

– Завтра ты вернешься на чайке, которую Гродицкий посылает в Чигирин, оттуда, не мешкая и не отдыхая, отправишься прямо в Разлоги. Только ничего не говори ни княгине, ни княжне о том, что мне грозит, проси только, чтобы они сейчас же ехали хоть верхом и без поклажи. Вот тебе на дорогу кошелек с деньгами, а письма я сейчас напишу.

– Господин! Неужели я больше не увижу вас? – воскликнул Жендян, упав Скшетускому в ноги.

– Это как Бог даст, – ответил поручик, поднимая его, – но смотри, в Разлогах у тебя должно быть веселое лицо. Ну а теперь иди спать.

Остальную часть ночи Скшетуский провел в писании писем и горячей молитве, после которой он немного успокоился. Ночь между тем бледнела все сильнее и сильнее, и в узких окнах, с восточной стороны, показался свет. Наконец совсем рассвело, и в комнату прокрался розоватый свет зари. На башне и в крепости прозвучал утренний сигнал.

Вскоре после этого в комнату вошел Гродицкий.

– Чайки готовы, господин поручик!

– Я тоже готов, – спокойно ответил Скшетуский.

## Глава X

Легкие чайки быстро неслись по течению, точно ласточки, унося с собою молодого рыцаря и его судьбу. Пороги, благодаря высокой воде, не представляли большой опасности. Путники уже миновали Сурский и Лоханный пороги, счастливая волна перебросила их через Воронов Затор, затем они слегка задели Княжий и Стрелецкий, причем челноки не разбились, а только слегка поцарапались, и наконец они увидели вдали пенистый водоворот страшного Ненасытца. Тут уж нужно было высаживаться и тащить лодки волоком. Это тяжелый и долгий труд, отнимающий обыкновенно целый день. К счастью, по берегу была разбросана масса колод, очевидно, оставшихся от прежних переправ, которые они и подкладывали под челноки, чтобы легче было тащить их по земле. Во всей окрестности и в степи не было видно ни Души, на реке – ни одной лодки: в Сечь плыли только те, кого Гродицкий пропускал через Кудак, а он нарочно отрезал Запорожье от остального света. Тишину прерывал только плеск волн о скалы Ненасытца. Все время, пока люди перетаскивали лодки, Скшетуский присматривался к этому величественному явлению природы. Грозный вид поразил его взор. Во всю ширину реки тянулось семь скалистых хребтов, торчащих над водой, черных, продолбленных волнами, пробивавшими себе в них проходы. Река всю тяжестью воды напирала на эти хребты и, остервенев, отскакивала Назад, шумя, превращаясь в белую пенистую массу и все-таки силясь, точно разгоряченный конь, перескочить через них. Но прежде чем найти себе какой-нибудь выход, вода, казалось, разрывала на части отталкивающие ее скалы и крутилась в бессильном гневе, вздымаясь столбами вверх, кипя ключом и ревя, как измученный дикий зверь. Около каждой из этих скал все повторялось сначала: опять тот же шум, как от сотни пушек, и вой, точно здесь выла целая стая волков, те же усилия, тот же омут и та же борьба. А над всем этим носились крик испуганных этим зрелищем птиц да дрожащие мрачные тени скал, похожие на тени злых духов.

Люди, тянувшие челноки, хотя и привыкли ко всему этому, тем не менее набожно крестились, предупреждая поручика, чтобы он не подходил слишком близко к берегу. В то время существовало поверье, что тот, кто долго смотрит на Ненасытец, видит что-то страшное и теряет рассудок; говорили также, что из глубины водоворота высовываются иногда чьи-то черные длинные руки, которые хватают неосторожных, слишком близко подошедших к берегу, а в пучине раздается тогда страшный хохот. Ночью даже запорожцы не решались перетаскивать здесь свои лодки.

Низовцы только тех принимали в свое товарищество, кто прошел пороги в одном челне, но для Ненасытца делалось исключение, так как его скалы никогда не бывали покрыты водой. Только об одном Богуне слепцы пели, что он перебрался и через Ненасытец, но этому никто особенно не доверял.

Перетаскивание лодок заняло почти целый день, и солнце уже начало заходить, когда поручик снова сел в свой челн. Зато остальные пороги путники проехали очень легко, потому что они были покрыты водой, и наконец выплыли на «тихие низовые воды».

По дороге Скшетуский заметил на Кучкасовом урочище исполинский курган из белого камня, который князь приказал насыпать в память своего пребывания в этих местах и о котором рассказывал Скшетускому в Лубнах Богуслав Машкевич. Отсюда было уже недалеко до Сечи, но поручик не хотел въезжать ночью в Чертомелицкий лабиринт и решил переночевать в Хортице.

Ему хотелось также встретить кого-нибудь из запорожцев, который мог бы дать знать в Сечь, что это едет посол, а не кто-либо другой. Однако Хортица казалась пустой, что немало удивило поручика, так как Гродицкий говорил ему, что там всегда стоит казацкий отряд для отражения татар. Скшетуский с несколькими людьми сам отправился на разведку и отошел

довольно далеко от берега, но не мог обойти весь остров, длиной более мили; этому помешала также темная, ненастная ночь, и он вернулся к чайкам, которые тем временем были вытащены уже на берег, где путники развели для ночлега огонь в защиту от комаров.

Большая часть ночи прошла спокойно. Казаки и проводники заснули у костров, не спали одни только караульные да Скшетуский, который с отъезда из Кудака страдал бессонницей. Он чувствовал, что его лихорадит. Ему казалось минутами, что слышатся приближающиеся из глубины острова шаги, то опять какие-то странные звуки, похожие на отдаленное блеянье коз, но он думал, что слух обманывает его.

Вдруг перед самым почти рассветом к нему подошла какая-то темная фигура. Это был один из караульных.

– Господин поручик, – торопливо сказал он, – идут!

– Кто такие?

– Должно быть, низовцы; их около сорока.

– Это немного! Разбудить людей и подложить огня!

Казаки вскочили на ноги. Пламя разгоревшегося костра взвилось кверху, осветив чайки и горсть солдат Скшетуского. Караульные тоже сбежались. А неровные шаги приближающихся кучки людей слышались все яснее и яснее и наконец в некотором расстоянии от стоянки Скшетуского замолкли. Какой-то голос грозно спросил:

– Кто на берегу?

– А вы кто? – спросил вахмистр.

– Отвечай, вражий сын, а не то спросим из самопалов.

– Его светлости князя Иеремии Вишневецкого посол к кошевому атаману! – громко сказал вахмистр.

Голоса в кучке смолкли – очевидно, там происходило совещание.

– Подите сюда, – крикнул вахмистр, – не бойтесь! Послов не бьют, и они не бьют.

Снова слышались шаги, и через минуту из темноты выступило несколько десятков человек. По смуглой коже, небольшому росту и кожухам, вывернутым шерстью вверх, поручик понял, что большая часть их – татары; казаков же было всего несколько человек. В голове Скшетуского молнией пронеслась мысль, что если татары на Хортице, то Хмельницкий, должно быть, вернулся из Крыма.

Впереди всех стоял старый запорожец исполинского роста, со страшно свирепым лицом. Он подошел ближе к огню и спросил:

– А кто из вас посол?

Запорожец был, очевидно, пьян, так как кругом распространился сильный запах водки.

– Кто же из вас посол? – повторил он.

– Я! – гордо ответил Скшетуский.

– Ты?

– Разве я тебе брат, что ты мне говоришь «ты»?

– Знай, грубиян, вежливость, – вмешался вахмистр. – Всегда говорят «ясновельможный пан посол».

– Погибель вам, чертовы сыны! Чтобы вам Серпягова смерть, ясновельможные сыны! А вы зачем к атаману?

– Не твое дело! Знай одно: веди меня скорей к атаману, если хочешь, чтобы твоя шея осталась цела.

В эту минуту из толпы выдвинулся вперед другой запорожец.

– Мы тут по воле атамана, – сказал он, – стережем ляхов, а кто сунется, того велено вязать и вести к нему, вот мы и сделаем это.

– Кто едет добровольно, того вязать нельзя.

– Надо, такой приказ.

– А знаешь ли ты, холоп, что значит особа посла? Знаешь ли, кого я представляю?

А старый великан сказал:

– Мы отведем посла только за бороду, вот так! – и с этими словами протянул руку к бороде поручика, но в ту же минуту застонал и, словно пораженный громом, свалился на землю.

Скшетуский рассек ему чеканом голову.

– Коли! Коли! – завывали в толпе яростные голоса.

Княжеские казаки бросились на помощь своему начальнику, загремели самопалы и крики «коли! коли!» слились с лязгом железа. Началась беспорядочная свалка. Затоптанные огни погасли, и тьма объяла сражающихся. Вскоре обе стороны так тесно слились, что для ударов не было места, а ножи, кулаки и зубы заменили сабли.

Но вдруг в глубине острова послышались крики многочисленных голосов; к нападающим подоспела помощь. Еще минута – и она опоздала бы, потому что казаки Скшетуского брали верх.

– К лодкам! – крикнул громовым голосом Скшетуский.

Его приказание было исполнено в мгновение ока. Но, к несчастью, чайки, глубоко втиснутые в песок, слишком трудно было сдвинуть в воду.

А неприятель тем временем яростно бросился к берегу.

– Пали! – скомандовал Скшетуский.

Залп из мушкетов задержал нападающих, которые смешались, сбились в кучу и в беспорядке отскочили, оставив несколько тел; некоторые из них вздрагивали, точно рыба, брошенная на берег.

А перевозчики тем временем с помощью казаков и весел изо всех сил старались сдвинуть челноки в воду, но тщетно.

Неприятель повел атаку издали. Шлепанье пуль о воду смешалось со свистом стрел и стонами раненых.

Татары, подзадоривая друг друга, пронзительно кричали, вторя крикам казаков: «коли! коли!», а спокойный голос Скшетуского все чаще повторял команду:

– Пали!

Бледный утренний свет озарил место побоища: со стороны суши виднелась толпа казаков и татар, пригнувшихся к седлам и прицеливающихся из пищалей или, наоборот, откинувшихся назад и натягивающих тетивы луков, а со стороны реки – две дымящиеся чайки, освещаемые постоянными выстрелами.

В одном из челноков стоял Скшетуский, выше всех, гордый, спокойный, с булдыганом в руке и непокрытой головой, так как татарская стрела сорвала с нее шапку.

Вахмистр подошел к нему и шепнул:

– Мы не выдержим – их слишком много!

Но поручик теперь думал только о том, как бы своей кровью защитить вверенное ему посольство, не допустить унижения своего сана и умереть со славой. Казаки сделали себе прикрытие из мешков с провизией, из-за которых они обстреливали неприятеля, а Скшетуский оставался под выстрелами на самом видном месте.

– Нам придется погибнуть всем до единого, – сказал он.

– И погибнем, батька! – крикнули казаки.

– Пали!

И чайки снова задымились, а из глубины острова начали прибывать новые толпы, вооруженные пиками и косами. Нападающие разделились на две части. Одна поддерживала огонь, другая, состоявшая более чем из двухсот казаков и татар, ждала только удобной минуты, чтобы кинуться в рукопашный бой. Одновременно с этим из тростников выплыли четыре лодки, готовые наброситься на поручика с тыла и с боков.

Было уже совсем светло, только дым от пороха тянулся длинными полосами и застилал место побоища. Поручик велел двадцати казакам обернуться к нападающим лодкам, которые с помощью весел неслись с быстротой птиц по спокойной воде реки. Огонь, обращенный к татарам и казакам, наступающим с острова, значительно ослаб.

Последние только этого и ждали.

Вахмистр снова подошел к поручику.

– Татары берут кинжалы в зубы и сейчас бросятся на нас.

Действительно, около трехсот ордынцев, с ножами в зубах и саблями в руках, готовились к атаке. С ними было также несколько запорожцев, вооруженных косами.

Атака должна была начаться сразу со всех сторон; нападающие лодки уже подплыли на расстояние выстрела. Бока их окутались дымом. Пули, как град, посыпались на солдат поручика. Обе чайки заполнились, стопами. Через несколько минут половина казаков Скшетуского уже пала, остальные отчаянно защищались. Лица их почернели от дыма, руки устали, глаза слипались и налились кровью, приклады ружей начали жечь ладони. Большая часть их была ранена.

Страшный вой и крик потрясли воздух. Это ордынцы бросились в атаку.

Дым от движения всей этой массы рассеялся, и глазам представились две чайки поручика, покрытые черной толпой татар, точно два лошадиных трупа, раздираемых стаями волков. Толпа эта напирала, выла, карабкалась и, казалось, борясь сама с собою, погибала. Несколько казаков давали еще отпор, а Скшетуский стоял на мачте, с окровавленным лицом, с глубоко вонзившейся в левое плечо стрелой, и отчаянно защищался. Он казался великаном среди окружающей его толпы; сабля его мелькала, как молния. Ударам его отвечали вой и стоны. Вахмистр с другим казаком стояли по бокам его. Минутами толпа с ужасом отступала перед этой тройкой, но, подталкиваемая сзади, снова бросалась вперед, падая под ударами сабель.

– Живых вести к атаману! – кричали голоса в толпе. – Сдавайся!

Но Скшетуский сдавался уже Богу: он вдруг побледнел, зашатался и рухнул на дно лодки.

– Прощай, батька! – крикнул с отчаянием вахмистр, но через минуту упал и он.

Движущаяся масса совершенно покрыла собою чайки.

## Глава XI

В хате войскового конторного<sup>4</sup>, в предместье Гассана-паши, сидели за столом двое запорожцев, угощаясь перегнанной через просо водкой, которую они без конца черпали из деревянного бочонка, стоявшего посреди стола. Один из них, совсем почти дряхлый старик, Филипп Захар, именно и был конторным, другой – Антон Татарчук, атаман Чигиринского куреня, был человек лет сорока, высокий, сильный, с суровым выражением лица и косыми татарскими глазами. Оба говорили вполголоса, как бы опасаясь, чтобы кто-нибудь не подслушал их.

– Значит – сегодня? – спросил конторный.

– Чуть ли не сейчас, – отвечал Татарчук. – Ждут только кошевого да Тугай-бея, который уехал с Хмельницким в Бозавлук, где стоит орда Казаки уже собрались на майдане, а куренные еще до вечера соберутся на раду. К ночи все уже будет известно.

– Гм! Может быть плохо! – проворчал старый Филипп Захар.

– Слушай, конторный, а ты видел, что было письмо и ко мне?

– Еще бы не видеть, когда я сам относил письма кошевому, а я ведь грамотный. У ляха нашли три письма, одно самому кошевому, другое – тебе, а третье – молодому Барабашу. Все в Сечи уже знают об этом.

– А кто писал? Не знаешь?

– Кошевому писал князь, потому что на письме была его печать, а кто к вам – неизвестно.

– Сохрани Бог!

– Если тебя не называют там открыто приятелем ляхов, то ничего не будет...

– Сохрани Бог! – повторил Татарчук.

– Видно, чуешь что-нибудь!

– Тьфу! Ничего я не чую.

– Может быть, кошевой уничтожит все письма; ведь это касается и его: к нему также было письмо, как и к вам.

– Может быть.

– А если чуешь что-нибудь, то – уходи.

А старый конторный еще больше понизил голос.

– Но как? И куда? – спросил с беспокойством Татарчук – Кошевой по всем островам расставил стражу, чтобы никто не мог уйти к ляхам и дать им знать, что тут делается. На Бозавлуке сторожат татары. Тут рыба не проплывет и птица не пролетит.

– Так скройся в самой Сечи, где можешь.

– Найдут! Разве только ты спрячешь меня на базаре между бочками? Ведь ты мне родственник!

– И родного брата не стал бы скрывать. А боишься смерти, так напейся пьян: тогда ничего не почувствуешь.

– А может быть, в письмах ничего нет?

– Может быть...

– Вот беда! Вот беда-то! – сказал Татарчук. – Ничего не чувствую за собой. Я – добрый казак и ляхам враг! А если даже в письмах и нет ничего, то черт знает, что еще лях скажет перед радой? Он может погубить меня.

– Это сердитый лях; он ничего не скажет.

– Ты был сегодня у него?

---

<sup>4</sup> Войсковой чиновник в Запорожье, наблюдавший за правильностью мер и весов в лавках на так называемом «Крамноу Базаре» в Сечи.

– Был и помазал ему дегтем раны, а в горло влил водки с золой. Будет здоров! Сердитый лях! Говорят, что, прежде чем его взяли на Хортице, он резал татар, как свиней. Ты за ляха будь спокоен.

Унылый звук котлов, в которые били на кошемом майдане, прервал дальнейший разговор. Татарчук, услышав этот звук, вздрогнул и вскочил на ноги. В его лице и движениях отразилась страшная тревога.

– Зовут на раду! – сказал он, тяжело вздыхая – Сохрани Бог! Ты, Филипп, не говори, о чем я болтал тут с тобою. Сохрани Бог!

Сказав это, Татарчук схватил кувшин с водкой, наклонил его обеими руками ко рту и начал пить, точно хотел напиться до смерти.

– Идем!

Они вышли. Предместье Гассана-паши отделялось от майдана только валом, отгораживавшим собственно кош, и воротами с высокой башней, на которой виднелись жерла пушек. В середине предместья стоял дом конторного и хаты крамных (лавочных) атаманов, а вокруг довольно обширной площади помещались лавки; в общем, это были жалкие постройки, сколоченные из дубовых бревен, доставляемых в изобилии Хортицей, и связанные тростником и ветвями. Хаты же, не исключая и хаты конторного, похожи были скорее на шалаши, так как над землей возвышались одни только крыши. Крыши эти сделались черными и закопченными, потому что, когда в хатах разводили огонь, то дым выходил не только в верхнее отверстие, но сквозь все скважины и щели; эти хаты можно было принять тогда за кучу ветвей и тростника, из которых гонят смолу. В хатах царил вечная темнота, а потому в них постоянно горела лучина.

Лавок было несколько десятков, и они делились на куренные, то есть собственность отдельных куреней, и гостинные, в которых в мирное время торговали татары и валахи: первые – кожей, восточными тканями, оружием и всякого рода добычей, вторые – преимущественно вином. Но гостинные лавки редко бывали заняты, так как в этом разбойничьем гнезде покупка чаще всего превращалась в разбой, от которого не могли удержать толпу ни конторный, ни лавочные атаманы. Между лавками стояло также тридцать восемь куренных шинков, а перед ними всегда лежали среди разного хлама, дубовых колод и лошадиного навоза мертвецки пьяные запорожцы в беспробудном сне, с пеной у рта или в припадках белой горячки; менее пьяные завывали казацкие песни, дрались и целовались, сокрушаясь и проклиная казацкую судьбу и топчя ногами головы и груди лежащих. Трезвость требовалась только во время походов на Русь или татар, и тогда всех принимавших участие в войне наказывали за пьянство смертью. В обыкновенное же время, в особенности на Крамном Базаре, почти все были пьяны: и конторный, и лавочные атаманы, и продавец, и покупатель. Кислый запах неочищенной водки, в соединении с запахом смолы, рыбы, дыма и конских шкур, вечно стоял в воздухе всего предместья, которое пестротой своих лавок напоминало турецкое или татарское местечко. Продавалось здесь все, что удавалось награть в Крыму, Валахии или на Анатолийском побережье: яркие восточные ткани, парчи, сукно, ситец, полотно и дерюга, потрескавшиеся железные и чугунные пушки, кожи, меха, сушеная рыба, вишни и турецкая бакалея, церковная утварь, медные полумесяцы, сорванные с минаретов, и золоченные кресты<sup>5</sup>, снятые с церкви, порох холодное оружие, палки для пик и седла. Среди всего этого вертелись люди, одетые в самые разнообразные лохмотья, летом полунагие, всегда полудикие, закопченные дымом, черные, выпачканные в грязи, искусанные комарами, которые мириадами носились над Чертомеликом, и, как уже было сказано раньше, вечно пьяные.

---

<sup>5</sup> Запорожцы во время своих походов не щадили ничего и никого. До Хмельницкого в Сечи не было совсем церкви: первую построил Хмельницкий; там никого не спрашивали о религии, и все, что говорят о набожности низовцев, – басни.

В данную минуту предместье Гассан-паши было заполнено народом: лавки и шинки запирались, все спешили на майдан, где должна была произойти рада. Филипп Захар и Антон Татарчук шли вместе с другими, но последний подвигался медленно и очень лениво, постоянно опережаемый толпой. Тревога на его лице отражалась все сильнее и сильнее. Они прошли уже мост, ведущий через рое, потом ворота и очутились наконец на обширном майдане, окруженном тридцатью восемью большими деревянными зданиями; это были курени, то есть дома вроде военных казарм, где жили казаки. Все эти курени были одинаковой величины и ничем не отличались друг от друга, разве только названиями, полученными от разных украинских городов и принадлежащими Также и полкам. В одном углу майдана возвышался радный дом; в нем заседали атаманы под председательством кошевого, остальная же толпа, так называемое товарищество, обсуждала все вопросы под открытым небом, ежеминутно посылая депутации к старшинам, а иногда силой врываясь в дом.

На майдане собралась уже огромная толпа; кошевой незадолго перед этим созвал в Сечь все войска, рассеянные по островам, лугам и речкам, а потому «товарищество» было многолюднее обыкновенного. Солнце уже склонялось к западу, а потому заблаговременно было зажжено несколько бочек смолы; тут и там стояли также бочки с водкой, которую каждый курень курил для себя отдельно и которая придавала немало энергии всем совещаниям. Порядок в куренях поддерживался есаулами, вооруженными внушительными дубинами для водворения порядка среди совещающихся и пистолетами для защиты собственной жизни, которая часто подвергалась опасности. Филипп Захар и Татарчук вошли прямо в радный дом, так как один в качестве конторного, а другой как куренный атаман имели право заседать между казачьими старшинами. В радной комнате стоял только один небольшой стол, за которым сидел войсковой писарь. Для атаманов и кошевого были места вдоль стен, на разостланных шкурах. Но в данную минуту места еще не были заняты. Кошевой ходил большими шагами по комнате, а куренные, собравшись кучками, тихо разговаривали между собою, изредка прерывая разговор громкими ругательствами. Татарчук заметил, что знакомые его и даже приятели делают вид, будто не замечают его; он сейчас же подошел к молодому Барабашу, который был в более или менее одинаковом с ним положении. На них смотрели искоса, на что молодой Барабаш не обращал особенного внимания, так как не понимая в чем дело. Это был человек замечательной красоты и необыкновенной силы, которой он единственно и был обязан званием куренного атамана, потому что по всей Сечи славился своей глупостью, которая доставила даже ему прозвище «атамана-дурня», и способностью вызывать каждым своим словом смех среди старшин.

– Мы, может быть; скоро пойдем в воду с камнем на шее! – шепнул ему Татарчук.

– Почему? – спросил Барабаш.

– А разве ты не знаешь о письмах?

– А чтоб вас! Разве это я писал письма?

– Погляди, как все смотрят на нас исподлобья.

– Если бы я ударил кого-нибудь в лоб, тот, наверное, не смотрел бы больше: сразу вытекли б глаза.

Раздававшиеся на улице крики указывали на то, что там происходит нечто необыкновенное. Двери радной избы широко раскрылись, и в комнату вошел Хмельницкий с Тугай-беем. Их-то и приветствовал так радостно народ. Несколько месяцев тому назад Тугай-бей как самый беспокойный из мурз, был предметом страшной ненависти в Сечи, а теперь «товарищество» при виде его подбрасывало вверх шапки, считая его добрым приятелем Хмельницкого и запорожцев.

Тугай-бей вошел первым, а за ним Хмельницкий с булавой в руке, как гетман запорожского войска. Звание это он получил после возвращения из Крыма с полученным от хана подкреплением. Толпа подхватила тогда его на руки и, разбив войсковую сокровищницу, поднесла ему булаву, хоругвь и печать, которые обыкновенно носились перед гетманом. Он сильно изме-

нился. Видно было, что он олицетворял собою всю страшную силу запорожцев. Это был уже не тот оскорбленный Хмельницкий, который скрывался в Сечь через Дикие Поля, но Хмельницкий – гетман, исполин, мститель за личную обиду, вымещающий эту обиду на миллионах.

Однако он не порвал цепей, наоборот, надел новые, еще более тяжелые. Это видно было по его обращению с Тугай-беем. Этот запорожский гетман в самом сердце Запорожья занимал второе место после татарина и покорно переносил гордое и нестерпимо презрительное его обхождение. Это были отношения вассала к господину. Так и должно было быть. Всем своим значением у казаков Хмельницкий был обязан татарам и ханской милости, представителем которой был дикий и бешеный Тугай-бей. Но Хмельницкий сумел смирить бушевавшую в груди гордость и казаться покорным, соединить хитрость с отвагой. Он был в одно и то же время и львом, и лисицей, и орлом, и змеей.

В первый, раз с возникновения казатчины татарин в Сечи являлся таким господином, – но такие уж пришли времена. «Товарищество» бросало вверх шапки при виде басурмана. Такие уж настали времена.

Совет начался. Тугай-бей сел посредине, на самой высокой куче шкур, и, поджав под себя ноги, стал грызть подсолнухи, выплевывая шелуху на середину избы. Справой его стороны сел Хмельницкий с булавою, с левой – кошевой, а остальные атаманы и депутация от «товарищества» уселись у стен. Разговор смолк, только снаружи доносился говор и глухой, похожий на ропот волн, шум толпы, совещающейся под открытым небом.

Хмельницкий начал речь:

– Господа! Ободряемые милостью и снисхождением крымского царя, господина многих народов и брата небесных светил, а также с разрешения нашего милостивого господина, польского короля Владислава, и по доброй воле отважных запорожских войск, уверенные в нашей невинности и справедливости Божией, – мы идем мстить за страшные, жестокие обиды, которые мы по-христиански терпели, пока могли, и от коварных ляхов, и от комиссаров, и от старост, и от экономов, от всей шляхты и даже от жидов. Над этими обидами и вы, господа, и все запорожское войско немало пролили слез, и вы дали мне булаву, чтобы я увереннее мог вступить за всех нас и за все запорожское войско. Считая это великой милостью, я отправился к милостивейшему хану просить помощи, которую он и дал нам. Но меня страшно опечалила и смутила весть, что между нами есть изменники, которые входят в сношения с коварными ляхами и доносят им о наших приготовлениях к войне; если действительно есть такие изменники, то они должны быть наказаны по вашей воле и усмотрению, господа... А мы просим, чтобы вы выслушали письма, которые привез от нашего недруга, князя Вишневецкого, посол его, присланный ляхами не как посол, а как шпион, с целью выведать все о состоянии нашего войска и войска нашего приятеля, Тугай-бея. Теперь обсудите, должен ли он быть наказан так же, как и те, которым он привез письма, о чем кошевой атаман, как верный приятель мой, Тугай-бей и всего запорожского войска, сейчас же уведомил нас.

Хмельницкий умолк; шум за окнами все усиливался; войсковой писарь встал и начал читать сначала письмо князя к кошевому атаману, начинавшееся словами: «Мы, Божией милостью князь и господин над Лубнами, Хоролом, Прилуками, Гадячем и пр., воевода русский и пр., и пр. староста и пр. Письмо это было чисто деловое: князь, услышав, что казацкие войска ссылаются с „лугов“, спрашивал у атамана, правда ли это, и увещевал его не делать этого ради спокойствия христианских земель, а Хмельницкого, если бы тот начал возмущать Сечь, выдать комиссарам, которые будут требовать этого. Другое письмо было от Гродицкого тоже к кошевому атаману; третье и четвертое – от Зацвилюховского и старого черкасского полковника к Татарчуку и Барабашу. Ни в одном из них не было ничего такого, что могло бы возбудить подозрение против тех, кому они были адресованы. Зацвилюховский только просил Татарчука, чтобы он взял под свою опеку подателя письма и исполнил бы все, о чем посол будет просить его».

Татарчук вздохнул свободнее.

– Что вы скажете, господа, об этих письмах? – спросил Хмельницкий.

Казачи молчали. Совещания, пока водка не разгорячила голов, начались с того, что ни один из атаманов не хотел заговорить первым. Они делали это как люди простые, но хитрые, главным образом из опасения, чтобы не сказать какой-нибудь глупости, из-за которой их могли бы поднять на смех или дать им на всю жизнь какое-нибудь насмешливое прозвище. В Сечи был чрезвычайно развит дух юмора и насмешки, и все боялись его.

Казачи продолжали молчать. Хмельницкий начал опять:

– Кошевой атаман – наш брат и верный приятель. Я верю ему, как самому себе, а кто скажет противное, тот сам замышляет измену. Атаман – старый друг и воин.

И, сказав это, он встал и поцеловал кошевого.

– Господа, – сказал на это кошевой, – я сзываю войска, а гетман пусть ведет их: что касается посла, то раз его послали ко мне, то, следовательно, он мой, а если мой, то я дарю его вам.

– Ну, господа депутаты, – сказал Хмельницкий, – поклонитесь атаману, потому что он человек справедливый, и скажите «товариществу», что если здесь и есть изменники, то только не он; он ведь первый расставил всюду стражу и велел ловить изменников, которые вздумали бы уйти к ляхам. Можно сказать, что он лучше нас всех!

Депутация поклонилась в пояс сначала Тугай-бею, который все время с величайшим равнодушием грыз свои подсолнухи, а потом Хмельницкому и кошевому и вышла.

Через минуту раздавшиеся под окном радостные крики Дали знать, что депутация исполнила поручение.

– Да здравствует наш кошевой! – кричали охрипшие голоса с такой силой, что дрожали все стены.

В то же время раздались выстрелы из самопалов и пищалей. Депутация вернулась и снова уселась в углу.

– Господа! – начал Хмельницкий, когда крики за окном несколько стихли, – вы умно рассудили, что кошевой – человек справедливый. Но если атаман не изменник, то кто же изменник? У кого есть приятели между ляхами, с кем они входят в сношения, кому пишут письма? Кому поручают посла? Кто изменник?

Хмельницкий, говоря это, все больше и больше повышал голос и зловеще посматривал в сторону Татарчука и молодого Барабаша, словно желая указать именно на них.

В комнате поднялся шум, и несколько голосов крикнуло: «Татарчук и Барабаш!» Некоторые из куренных встали со своих мест, среди депутатов послышались крики: «Погибель им!»

Татарчук побледнел, а молодой Барабаш изумленными глазами обвел всех присутствующих Лениво работающий ум его силился угадать, в чем его обвиняют. Наконец он воскликнул:

– Не буде собака исты мясо!

Сказав это, он залился идиотским смехом, а за ним и другие, И вдруг большая часть куренных начала дико смеяться, сама не зная чему.

Из окон доносились крики более и более громкие: видно, водка уже начала туманить головы. С каждой минутой шум увеличивался.

Антон Татарчук, обращаясь к Хмельницкому, сказал:

– Что я вам сделал, господа запорожские гетманы, что вы требуете моей смерти? В чем же моя вина? Комиссар написал мне письмо, ну так что же? Ведь и князь писал кошевому! А разве я получил письмо? А если б даже я и получил его, то что бы я сделал? Пошел бы я к писарю и велел бы ему прочесть его, так как сам я не умею ни читать, ни писать. Я этого ляха и в глаза даже не видел! И вы все знали бы, что мне было написано. Разве ж я изменник? Эх, братья запорожцы! Татарчук ходил с вами и в Крым, и в Валахию, бился с вами под Смоленском; с вами, добрыми молодцами, я и жил, и бился, и проливал кровь, и терпел голод, – значит,

я не лях, не изменник, а казак, ваш брат. Если гетман требует моей смерти, то пусть скажет – за что? Что я ему сделал? В чем я схитрил? А вы, братцы, помилуйте и судите справедливо!

– Татарчук – добрый молодец! Татарчук – справедливый человек! – отозвалось несколько голосов.

– Ты, Татарчук, добрый молодец! – сказал Хмельницкий. – Я и не настаиваю на твоей смерти: для меня ты друг, не лях, а казак и наш брат. Если бы изменником был лях, то я не печалился бы и не плакал, но если изменником является мой друг, то у меня тяжело на сердце и жаль доброго молодца. А если ты бывал и в Крыму, и в Валахии, и под Смоленском, то еще сильнее твой грех, что ты хотел дать ляхам сведения о нашей войске. Тебе писали, чтобы ты исполнил все, что бы ни потребовал посол, а скажите, господа атаманы, чего может потребовать лях? Чего, как не моей смерти, смерти моего приятеля Тугай-бея и гибели запорожского войска? Ты виновен, Татарчук, и ничего другого не докажешь! А к Барабашу писал его дядя, черкасский полковник, друг Чаплинского и ляхов, который прятал у себя королевские грамоты, чтобы они не достались запорожскому войску. Если это так, а я клянусь, что это так, – то вы оба виновны. Просите помилования у атаманов, и я с вами буду просить, хотя вина ваша велика и измена явная.

Со двора между тем долетел уже не шум и не говор, но точно рокот бури. «Товарищество» хотело узнать, что делается в радной избе, и выслало новую депутацию.

Татарчук чувствовал, что погиб. Он вспомнил теперь, что неделю тому назад говорил против отдачи булавы Хмельницкому и против союза с татарами. Холодный пот выступил у него на лбу: он понял, что спасения нет!

Что касается Барабаша, то всем было ясно, что, губя его, Хмельницкий хотел отомстить старому черкасскому полководцу, который горячо любил своего племянника.

Однако Татарчуку не хотелось умирать. Он не боялся ни сабли, ни пули, но смерть, которая ждала его, поражала его ужасом. Пользуясь минутным молчанием, наставшим после слов Хмельницкого, он отчаянно крикнул:

– Во имя Христа! Братья атаманы и сердечные друзья! Не губите невинного! Я даже не видел ляха, не знаю, что ему нужно было от меня! Спросите у него сами. Клянусь Христом Спасителем, Пречистой Богородицею и всеми святыми, что вы хотите погубить невинного.

– Привести сюда ляха! – крикнул старший конторный.

– Ляха сюда, ляха! – закричали куренные.

Началась суматоха; одни бросились в соседнюю избу, где был заперт пленник, чтобы привести его, другие грозно двинулись к Татарчуку и Барабашу. Атаман миргородского куреня Гладкий первый крикнул: «Погибель ему!» Депутаты подхватили этот крик, а Чарнота бросился к дверям и, отворив их, крикнул собравшейся толпе:

– Господа! Барабаш и Татарчук – изменники! Погибель им!

Толпа ответила страшным воем. В радной избе началось замешательство. Все куренные повскакали со своих мест. Одни кричали: «Ляхи, ляхи!» – другие старались унять шум, как вдруг двери от напора толпы распахнулись настежь, и в избу ввалилась толпа совещавшихся на дворе казаков. Опьяненные бешенством, они скрежетали зубами и кричали, размахивая руками и распространяя запах водки: «Смерть Татарчуку и Барабашу! Погибель им! Давайте нам изменников! На майдан их!» – кричали пьяные голоса. «Бей их! Бей!» – и сотни рук протянулись к несчастным жертвам. Татарчук не сопротивлялся, он только страшно стоял; но молодой Барабаш начал защищаться со страшной силой. Он понял наконец, что его хотят убить, страх, отчаяние и бешенство отразились на его лице; на губах показалась пена, а из груди вырвался животный крик. Он дважды вырывался из рук убийц и дважды руки их хватили его за плечи, грудь, бороду и чуб. Он метался, кусался, рычал, падал на землю и снова подымался, окровавленный и страшный. На нем разорвали платье, вырвали ему чуб, выбили глаз и наконец, прижав к стене, сломали ему руку. Тогда он упал. Его схватили за ноги и вместе

с Татарчуком потащили на майдан, и тут-то, при свете горящих смоляных бочек и костров, началась настоящая пытка. Несколько тысяч людей бросились на осужденных и начали рвать их на куски, борясь между собой за право подступиться к жертве. Их топтали ногами и вырывали кусками мяса. Обезумевшая толпа теснилась вокруг них в страшном, почти судорожном неистовстве. По временам окровавленные руки то поднимали вверх два бесформенных и непохожих уже на человеческие тела куска мяса, то снова бросали их на землю. Стоявшие дальше кричали: одни, чтобы жертв бросить в воду, другие – чтобы всадить их в бочки с кипящей смолой. Совсем обезумев, толпа зажгла наконец две бочки с водкой, которые озарили дрожащим, голубоватым светом эту адскую сцену. А с неба на нее же глядел тихий и ясный месяц.

Так карало «товарищество» своих изменников. А в радной избе, после того как казаки вытащили Татарчука и молодого Барабаша, снова все стихло; атаманы заняли прежние места у стены; из смежной избы привели узника. На лицо его падала тень, так как огонь в очаге погас, и в полумраке виднелась только его высокая фигура, державшаяся прямо и гордо, несмотря на связанные руки. Гладкий подбросил в огонь вязку хвороста, и через минуту взвившееся вверх пламя облило ярким светом лицо узника, повернувшегося к Хмельницкому.

При виде его Хмельницкий вздрогнул.

Узник был Скшетуский.

Тугай-бей выплюнул шелуху и пробормотал по-малорусски:

– Я знаю этого ляха – он был в Крыму!

– Погибель ему! – крикнул Гладкий.

– Погибель ему! – повторил за ним и Чарнота.

Хмельницкий поборол уже свое волнение. Он только повел глазами на Гладкого и Чарноту, которые сейчас же умолкли от этого взора, и, обратившись к кошевому, сказал:

– И я знаю его!

– Ты откуда? – спросил кошевой Скшетуского.

– Я ехал к тебе в качестве посла, кошевой атаман, но в Хортице на меня напали разбойники и, вопреки обычаям, соблюдаемым даже самыми дикими народами, побили моих людей, а меня, несмотря на мое посольское звание, оскорбили и привели сюда как пленника. Мой господин, князь Иеремия Вишневецкий, припомнит тебе это, кошевой атаман!

– А зачем ты показал свое коварство? Зачем ты убил обухом доброго молодца? Зачем ты побил у нас людей вчетверо больше, чем вас было самих? Ты ехал с письмом ко мне, чтобы выведать наши военные силы и донести об этом ляхам? Мы ведь знаем, что у тебя были письма к изменникам запорожского войска, с которыми вы хотели стубить нас; поэтому ты будешь принят не как посол, а как изменник и как изменник справедливо наказан.

– Ошибаешься, кошевой атаман, и ты, самозванный атаман, – ответил поручик, обращаясь к Хмельницкому. – Если я взял письма, то так делает каждый посол, который, едучи в чужую страну, берет у знакомых письма для передачи их знакомым. Ехал же я сюда с письмом князя не для вашей гибели, но для того, чтобы удержать вас от поступков, которые могут иметь тяжелые последствия для всей Польши а на вас и на все Запорожье навлечь бедствия. На кого вы подымаете безбожные руки? И против кого вы заключаете союз с неверными, вы, называющие себя защитниками христианства? Против короля, против шляхты и всей Польши! Вы изменники, а не я, и говорю вам, что если вы не загладите своей вины, то горе вам! Давно разве были времена Павлжжа и Наливайки? Разве вы уже забыли, как они были наказаны? Помните только, что терпение Польши истощилось и что меч висит над вашими головами.

– Ты врешь, вражий сын, чтобы вывернуться и уйти от смерти! – крикнул кошевой. – Но тебе не помогут ни твои угрозы, ни твоя латынь!

Остальные атаманы начали греметь саблями, скрежетать зубами, Скшетуский же поднял свою голову еще выше и продолжал:

– Не думай, атаман, что я боюсь смерти, что доказываю свою невиновность или защищаю жизнь. Я – шляхтич и подлежу суду только равных мне, а здесь я стою не перед судьями, а перед разбойниками, не перед шляхтой, а перед мужичьем; предо мной не рыцари, а варвары, и я хорошо знаю, что не уйду от смерти, которой вы еще больше увеличите свою вину. Передо мною пытка и смерть, но за мною могущество и месть Польши, при имени которой вы дрожите.

Гордая осанка, речь посла и упоминание о Польше произвели сильное впечатление. Атаманы молча переглядывались. Одно мгновение им казалось, что перед ними стоит грозный посол могущественного народа, а не узник.

– Сердитый лях – пробормотал Тугай-бей.

– Сердитый лях – повторил и Хмельницкий.

Страшный удар в двери прервал дальнейший их разговор.

На майдане окончилась пытка Татарчука и Барабаша, и «товарищество» высылало новую депутацию.

В избу вошло несколько казаков, окровавленных, покрытых потом и пьяных: Они стали в дверях и, протянув еще дымящиеся кровью руки, начали говорить:

– Товарищество кланяется господам старшинам! – и они все поклонились в пояс, – и просит вас выдать ему этого ляха, «щоб з ним поиграты, як з Татарчуком и Барабашем».

– Выдать им ляха! – крикнул Чарнота.

– Не выдавать! – кричали другие. – Пусть ждут! Он посол.

– Погибель ему! – отозвалось несколько голосов.

Наконец все утихло, ожидая, что скажет кошевой и Хмельницкий.

Казалось, для Скшетуского уже не было спасения, но Хмельницкий нагнулся к Тугай-бею и шепнул ему на ухо:

– Ведь это твой пленник! Его взяли татары, и он твой! Неужели ты позволишь его взять? Это богатый шляхтич, да кроме того Ерема заплатит за него золотом.

– Давайте ляха! – все грознее и грознее кричали казаки. Тугай-бей потянулся на своем сидении и встал.

Лицо его мгновенно переменялось, глаза расширились, как у рыси, а зубы хищно сверкнули. Он, точно тиф, подскочил к казакам, требующим пленника.

– Прочь, мужичье! Неверные псы! – зарычал он, хватая за бороды двух запорожцев и бешено теребя их – Прочь, пьяницы, поганое племя! Гады плюгавые! Вы пришли отнять у меня ясырь? Так вот вам, мужичье! – и с этими словами он начал таскать за бороды и других депутатов и наконец, свалив одного, стал топтать его ногами. – Ниц, рабы! я вас всех возьму в неволю, а всю вашу Сечь истопчу ногами так же, как и вас! Всю выжгу и всю покрою вашими трупами!

Депутаты отступили пораженные – страшный приятель показал, на что он способен.

Это было очень странное явление, потому что в Базавлуке было всего шесть тысяч татар. Правда, за ними стоял еще сам хан со всей своей силой, но зато в самой Сечи было несколько тысяч молодцов, кроме тех, которых Хмельницкий уже выслал на Томакувку. Однако ни один протестующий голос не поднялся против Тугай-бея.

Способ, каким грозный мурза спас пленника, оказался вполне действенным и сразу убедил запорожцев, которым в это время была необходима его помощь.

Депутаты выбежали на майдан, крича толпе, что им не удастся поиграть ляхом, потому что он пленник Тугай-бея, а Тугай-бей, оказывается, «рассердывся». «Он повыдергивал нам бороды», – кричали они. На майдане сейчас же начали кричать: «Тугай-бей рассердывся, рассердывся!» Толпа жалобно, вторила этим крикам, а несколько минут спустя чей-то пронзительный голос уже распевал около костра:

Гей, гей,

Тугай-бей  
Рассердывся дуже!  
Гей, гей,  
Тугай-бей,  
Не сердыся, друже!

Тысячи голосов сейчас же подхватили: «Гей, гей, Тугай-бей», – и вот сложилась одна из тех песен, которые, точно ураган, пролетали по целой Украине, звеня струнами бандур и теорбанов. Но вдруг песня смолкла, потому что через ворота, ведущие в предместье Гассан-паши, вбежало несколько казаков, которые, расталкивая толпу с криками: «Прочь с дороги, прочь с дороги», изо всех сил летели к радной избе. Атаманы уже собирались уходить, когда явились к ним эти новые гости.

– Письмо к гетману! – кричал старый казак.

– Откуда вы?

– Мы – чигиринцы. День и ночь мы ехали с письмом. Вот оно!

Хмельницкий взял письмо из рук казака и начал читать его. Лицо его внезапно переменилось и, прервав чтение, он произнес громким голосом:

– Господа атаманы! Великий гетман высылает на нас своего сына Стефана. Война!

В избе поднялся странный шум: непонятно было, обрадовало ли их это известие или же, наоборот, поразило. Хмельницкий вышел, подбоченившись, на середину избы; глаза его метали искры, а голос звучал грозно и повелительно:

– Куренные, по куреням! Выпалить из пушек на башне! Разбить бочки с водкой! Завтра на рассвете в поход!

С этой минуты в Сечи прекращались и общая рада, и совещания атаманов, и сеймы, и влияние «товарищества». Хмельницкий принимал на себя неограниченную власть. За минуту перед этим, опасаясь, что «товарищество» не послушает его голоса, он вынужден был хитростью спасти пленника и хитростью же сгубить недоброжелателей. Теперь же он был волен в жизни и смерти всех. Так было, впрочем, всегда. До похода и после него, несмотря на то, что гетман уже был выбран, толпа все-таки предписывала кошевому и атаманам свою волю, противиться которой было небезопасно. Но с момента объявления похода все «товарищество» превращалось в войско, подчинявшееся военной дисциплине, куренные – в офицеров, а гетман – в вождя-диктатора.

Вот почему, услышав приказ Хмельницкого, атаманы немедленно направились к своим куреням. Совещание было окончено.

Спустя некоторое время пушечная пальба, раздавшаяся из ворот, ведущих из предместья Гассан-паши на майдан, потрясла стены радной избы и, возвещая войну, мрачным эхом разнеслась по всему Чертомелику. С нее же началась также и новая эпоха в судьбах двух народов, но об этом не знали ни пьяные низовцы, ни сам запорожский гетман.

## Глава XII

Хмельницкий с Скшетуским пошли ночевать к кошевому, а с ними и Тугай-бей, которому слишком поздно было возвращаться на Базавлук. Последний обращался с Скшетуским не как с невольником, но как с пленником, за которого мог получить богатый выкуп, причем выказывал уважение, какого не проявлял по отношению к казакам, так как в свое время видел его у хана в качестве княжеского посла. Увидев это, кошевой пригласил Скшетуского к себе и, в свою очередь, переменил с ним обращение. Старый атаман был предан душой и телом Хмельницкому, который завоевал его расположение и всецело овладел им. Он заметил, что Хмельницкому во время рады хотелось спасти пленника, но он удивился еще больше, когда Хмельницкий, едва успев войти в хату, сейчас же обратился к Тугай-бею с вопросом:

– Послушай, Тугай-бей, какой ты думаешь взять выкуп за этого пленника?

Тугай-бей, посмотрев на Скшетуского, произнес:

– Ты говорил, что это знатный человек, а я, кроме того, еще знаю, что это посол грозного князя, а князь любит своих, ну так и тот и другой заплатят мне всего... – Тугай-бей на минуту задумался, – две тысячи талеров.

– Я дам тебе эти две тысячи, – ответил ему на это Хмельницкий.

Татарин несколько минут молчал. Его косые глаза, казалось, хотели пронизать Хмельницкого насквозь.

– Ты дашь три, – сказал он.

– Зачем я тебе дам три, когда ты сам требовал две.

– Если ты хочешь выкупить его, то, значит, он тебе нужен, а если он тебе нужен, ты дашь три.

– Он спас мне жизнь.

– Алла! Это стоит лишней тысячи.

Тут вмешался в торг и Скшетуский.

– Тугай-бей! – с гневом сказал он. – Я ничего не могу обещать из княжеской казны, но сам дам тебе три тысячи, хотя бы мне даже пришлось для этого разорить себя. У меня есть почти столько же на сбережении у князя и, кроме того, довольно большое имение. Думаю, что этого хватит. Я не хочу быть обязанным своей жизнью и свободой этому гетману.

– Откуда же ты знаешь, что я хочу с тобой сделать? – спросил его Хмельницкий и, обращаясь к Тугай-бею, прибавил: – Теперь начнется война; если ты пошлешь к князю гонца, то прежде чем он вернется, в Днепре утечет много воды, а я завтра отвез бы тебе деньги в Базавлук.

– Дай четыре, тогда я не буду и говорить с ляхом, – нетерпеливо ответил Тугай.

– Дам и четыре, если ты отдашь его мне.

– Если хочешь, гетман, – сказал кошевой, – то я сейчас же дам тебе деньги, тут у меня под стеной, может быть, найдется и больше.

– Завтра отвезем их в Базавлук, – сказал Хмельницкий.

Тугай-бей потянулся и зевнул.

– Мне хочется спать, – сказал он. – Завтра на рассвете придется ехать в Базавлук. Где я могу лечь?

Кошевой указал ему на кучу овчин у стены. Татарин бросился на них и через несколько минут уже храпел, как лошадь.

Хмельницкий прошелся несколько раз по узкой избе и сказал:

– Сон бежит от моих глаз. Я не могу уснуть. Дай мне чего-нибудь выпить, кошевой.

– Водки или вина?

– Водки. Не спится.

- На небе уж светает, – сказал кошевой.
- Да поздно. Иди и ты спать, старый друг. Выпей и ступай.
- За славу и счастье.
- За счастье!

Кошевой обтер рукавом губы, подал руку Хмельницкому и, отойдя в другой конец избы, зарылся весь почти в овчины, так как от старости постоянно мерз. Вскоре его храп слился с храпом Тугай-бея.

Хмельницкий сидел за столом, погруженный в глубокое молчание, но вдруг повернулся и, посмотрев на Скшетуского, сказал:

- Ты свободен, господин поручик.
- Благодарю тебя, запорожский гетман, хотя не скрою, что я предпочел бы быть обязанным свободой кому-нибудь другому.

– Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь – я отплатил тебе тем же. Теперь мы квиты. Но скажу тебе только одно, что я не отпущу тебя сейчас же, разве только дашь рыцарское слово, что вернувшись, не скажешь никому ни о наших сборах, ни о силах, одним словом, – ни о чем, что ты здесь видел в Сеча.

– Вижу, что ты только подразнил меня свободой, потому что дать тебе слово я не могу, так как поступил бы тогда как изменник.

– Моя голова и благополучие всего запорожского войска зависят от похода великого гетмана. Если он двинется на нас со всем своим войском, что он и не замедлит сделать, узнав о наших силах, то мы пропали. Не удивляйся поэтому, что если ты не хочешь дать слова, то я не отпущу тебя, пока не буду уверен в безопасности. Я знаю, на что иду. Знаю, какая страшная сила против меня: два гетмана, твой грозный князь, который один стоит целого войска, а Заславские, Конецпольские и все эти королевичи, которые заставляют казаков гнуть шеи! Мне много пришлось потрудиться над тем, чтобы усыпить их чуткость, и я не могу теперь тебе позволить пробудить ее. Когда чернь и городские казаки и вообще все притесняемые в свободе и вере перейдут на мою сторону, то Я со своим запорожским войском и с помощью крымского хана справлюсь с неприятелем, так как силы мои будут значительнее. А больше всего я надеюсь на Бога, который видел причиняемые мне обиды и мою невиновность.

Хмельницкий выпил стакан водки и заходил в волнении по избе.

Скшетуский смерил его глазами и с жаром сказал ему:

– Не льсти себя надеждой на Бога, запорожский гетман, и не призывай Его покровительства, потому что этим ты навлечешь только на себя Его гнев и кару. Тебе ли призывать на помощь Всевышнего, когда ты поднимаешь такую страшную бурю из-за собственных ссор и обид? Ты зажигаешь пламя междоусобной войны и призываешь неверных на помощь против христиан! Что же будет? Победишь ли ты, будешь ли ты побежден, но ты прольешь море людской крови и слез. Опустошишь край хуже саранчи, отдашь в неволю басурманам своих же братьев, перевернешь всю Польшу, поднимешь руку на величие и осквернишь алтари, а все потому только, что Чаплинский захватил у тебя хутор и в пьяном виде грозил тебе! На что только ты не отважишься? Чем только не пожертвуешь для своих выгод? И ты взываешь к Богу? Но я хотя и в твоей власти, хоть ты и можешь лишить меня и свободы и жизни, все-там скажу тебе: призывай на помощь не Бога, а сатану! Одни только ад может помочь тебе.

Хмельницкий побагровел, схватился за рукоятку сабли и посмотрел на Скшетуского, как лев, готовый броситься на свою жертву, – но сдержался. К счастью, он еще не был пьян. Быть может, его охватила тревога, а в душе прозвучал голос: «вернись назад», потому что он заговорил, как бы желая оправдаться пред самим собою или убедить себя:

– Я не стерпел бы от другого таких речей, но смотри и ты, чтобы твоя смелость не истощила моего терпения. Ты угрожаешь мне адом, упрекаешь меня в личной мести и измене... Откуда же ты знаешь, что я хочу мстить только из-за личной обиды? Да разве мои помощ-

ники, эти тысячи людей, пошли бы за мной, если б я мстил только за себя? Ты только взгляни, что делается на Украине! Она богата и плодородна, а кто в ней уверен в завтрашнем дне? Кто в ней счастлив? Кто в ней не лишен веры и свободы? Кто не вздыхает в ней и не плачет? Разве только одни Вишневецкие, Потоцкие, Заславские, Калиновские да часть шляхты! Для них и почести, и люди, и земля, для них счастье и золотая свобода, а остальной народ протягивает в слезах руки к небу, ожидая милосердия Божия, потому что король не в состоянии помочь. А сколько шляхтичей бежит к нам в Сечь от их гнета, как убежал и я! Я не хочу войны ни с королем, ни с Польшей! Она – наша мать, а он – отец. Король – господин, но королевичи! С ними нам не жить! Их грабежи, аренды, все их налоги и сборы, производимые ими при помощи жидов, вопиют к Небу о мести! Какую же благодарность получило запорожское войско за великие заслуги, оказанные им в многочисленных войнах? Где казацкие привилегии? Король дал, королевичи отняли. Наливайко четвертован, Павлюк зажарен в медном быке. Кровь не запеклась еще на наших ранах, нанесенных саблями Жолкёвского и Конёцпольского! Еще не высохли слезы по убитым, зарезанным и посаженным на кол! А теперь смотри: что светит на небе? – и Хмельницкий указал в окно на сияющую комету. – Гнев, бич Божий! И если мне суждено быть им, то да будет воля Божия! Я возьму на себя этот крест...

С этими словами он поднял руки кверху и, казалось, весь горел, как факел мести, затем дрожа упал на скамью, как бы пришибленный тяжестью своего предназначения.

Наступило молчание, прерываемое только храпом Тугай-бея и кошевого да жалобным трещанием сверчка в другом конце избы.

Поручик сидел, опустив голову. Он, казалось, искал ответа на тяжелые, как гранит, слова Хмельницкого; наконец он проговорил тихим и печальным голосом:

– Ах! если бы даже это и была правда, то кто же ты, чтобы становиться палачом и судьей?.. Какое безумие и гордость увлекают тебя? Почему ты не предоставишь Богу карать и судить? Я не защищаю зла, не хвалю обиды, притеснений не называю правыми, но взгляни и ты на себя, гетман! Ты упрекаешь королевичей за притеснения, говоришь, что они не хотят слушать ни короля, ни закона, упрекаешь их в гордости, а разве сам ты безгрешен? Разве ты сам не поднимаешь руки на Польшу, на право и власть короля? Ты видишь только тиранию панов и шляхты, но не помнишь того, что если б не их груди, панцири, могущество, замки и пушки, то земля эта, текущая медом и молоком, стонала бы под худшим еще татарским ярмом! Кто защищал ее? Чьим покровительством и могуществом дети ваши избавлены от службы в янычарах, а женщины – от гаремов? Кто заселяет пустыни, строит деревни, города и храмы Божьи?

Голос Скшетуского возвышался все больше и больше, а Хмельницкий, мрачно уставив глаза в стакан с водкой и положив стиснутые руки на стол, упорно молчал.

– И кто же они? – продолжал Скшетуский. – Разве они пришли из немецкой земли или из Туречины? Не кровь ли это от крови вашей? Не ваши ли эта шляхта и князья? Если это так, то горе тебе, гетман, потому что ты возмущаешь младших братьев против старших и делаешь их отцеубийцами. Но, Боже! Если бы даже они и были злы, если б даже все они попирали права и нарушали привилегии, чего, однако, нет на самом деле, – то пусть их судит Бог на небе и сеймы на земле, но не ты, гетман! Можешь ли ты сказать, что между вами только одни хорошие люди? Разве вы безгрешны, что бросаете камнем в других? Ты спрашивал меня, где казацкие привилегии? Я отвечу тебе: не королевичи уничтожили их, а запорожцы: Лобода, Саско, Наливайко и Павлюк, о котором ты говоришь, что будто бы его зажарили в медном быке, хотя хорошо знаешь, что этого не было. Уничтожили их ваши бунты и набеги... Кто пускал татар в пределы Польши и кто нападал на них, когда они шли обратно с добычей? Вы! Кто отдавал в неволю своих же христиан? От кого не был в безопасности ни шляхтич, ни купец, ни мужик? От вас! Кто начинал междоусобную войну, кто поджигал украинские деревни и города, грабил святыни Божьи и насиловал женщин? Вы и вы! Чего же ты хочешь? Может быть, ты хочешь,

чтобы тебе выдали привилегию на междоусобную войну, разбой и грабеж? Вам ведь больше прощено, чем отнято у вас! Я не знаю, есть ли еще такое государство, кроме Польши, которое терпело бы такой вред на собственном теле и было бы так терпеливо и снисходительно! И как же вы благодарите ее за это? Вот тут спит твой союзник, но заклятый враг Польши; твой друг, но не друг христианства; это не украинский князь, а татарский мурза, с которым ты идешь разорять собственное гнездо и будешь судить своих братьев! Но отныне он будет повелителем, а ты будешь подавать ему стремя!

Хмельницкий выпил еще стакан водки.

– Когда-то мы с Барабашем были у короля, – мрачно сказал он, – и когда начали жаловаться на несправедливости и притеснения, он спросил нас: «Разве у вас нет самопалов и сабель?»

– А если бы ты стоял перед Царем царствующих, то он спросил бы тебя: простил ли ты врагам своим, как я простил своим?

– Я не хочу войны с Польшей!

– Зачем же ты приставляешь меч к ее горлу?

– Я хочу освободить казаков из ваших рук.

– Чтобы опутать их татарскими сетями.

– Я хочу защитить веру!

– Вместе с басурманом?

– Прочь! Ты не голос моей совести! Прочь, говорю тебе!

– Пролитая кровь и человеческие слезы падут на тебя! Тебя ждет смерть и суд!

– Зловещий ворон! – вскричал Хмельницкий с бешенством и, сверкнув ножом, замахнулся им на Скшетуского.

– Ну, убей! – проговорил тот.

И снова настало молчание; снова слышалось только храпение спящих да жалобное чириканье сверчка. Хмельницкий несколько мгновений не отнимал ножа от груди поручика; наконец он пришел в себя, опустил нож и, схватив кувшин с водкой, выпил его до дна и тяжело опустился на скамью.

– Не могу убить его, – бормотал он, – не могу! Да и поздно уже! И возвращаться назад уже поздно... Что ты мне говоришь о суде и крови?

Он и раньше выпил уже много, а теперь водка окончательно опьянила его, и сознание его все больше туманилось.

– Какой там суд? Что? Хан обещал мне помощь, а Тугай-бей здесь спит! Завтра молодцы двинутся. С нами святой Михаил-победитель! А если бы... если бы... то... я выкупил тебя у Тугай-бея, помни это и скажи... Ой, что-то болит, болит... Поздно сворачивать с дороги! Суд... Наливайко... Павлюк...

Вдруг он вскочил, вытаращил испуганные глаза и закричал:

– Кто здесь?

– Кто здесь? – повторил полусонный кошевой.

А Хмельницкий опустил голову на грудь, покачнулся раз, другой, пробормотал: «Какой суд», – и заснул.

Скшетуский страшно побледнел и ослабел от полученных недавно ран и от волнения, которое испытывал во время разговора. Думая, что это приближается к нему смерть, он начал громко молиться.

## Глава XIII

На другой день, утром, пешее и конное казацкое войско двинулось из Сечи. Хотя степи еще не окрасились кровью, но война уж началась. Полки шли за полками; казалось, будто саранча, пригретая весенним солнцем, летит роями из тростников Чертомелика на украинские нивы. В лесу, за Базавлуком, казаков ожидали готовые к походу ордынцы. Помощь, которую хан послал запорожцам и Хмельницкому, состояла из шести тысяч отборных воинов, вооруженных несравненно лучше, чем обыкновенные татары-разбойники. Казаки при виде их начали бросать вверх шапки. Загремели пушки и самопалы. Крики казаков, смешавшись с татарскими криками «алла!», гулко раздавались в воздухе. Хмельницкий и Тугай-бей, оба с бунчуками, подъехали друг к другу на конях и торжественно поздоровались.

Был произведен походный смотр с быстротой, свойственной казакам и татарам, после которого войска двинулись в путь. Ордынцы заняли места по бокам, Хмельницкий с конницей в середине, за ними страшная запорожская пехота<sup>6</sup>, далее – пушкари со своими орудиями, затем обоз, повозки и возы с прислугой и припасами и, наконец, чабаны со стада ми запасного скота.

Миновав базавлукский лес, полки вступили в степи. День был ясный, и на небе не было видно ни одной, тучки. Легкий ветерок дул с севера к морю, солнце играло на копьях казаков и на степных цветах. Перед глазами казаков раскинулись Дикие Поля, точно безбрежное море; при виде их казаками овладело радостное чувство. Большая малиновая хоругвь с изображением Архангела склонялась по нескольку раз, приветствуя родимую степь, а за нею склонялись все бунчуки и казацкие знамена. Из груди у всех вырвался один общий крик.

Полки свободно развернулись. Довбыши и теорбанисты стали впереди войска; загремели котлы, зазвенели литавры и теорбаны, и тысячи голосов запели казацкую песню, которая громким эхом расходилась по всей степи:

Гей вы, степи, гей, родныя,  
Красным цветом писанья,  
Як море-широкья...

Теорбанисты, опустив поводья и откинувшись на седлах, ударяли по струнам теорбанов, подняв к небу глаза; литаврщики, вытянув над головой руки, били в свои медные круги, довыбыши гремели в котлы, и все эти звуки, вместе с монотонными словами песни и пронзительным, резким свистом татарских дудок, сливались в одну дикую, резкую ноту, унылую, как сама пустыня. Войско упивалось этими звуками, головы всех мерно покачивались в такт песне; казалось, сама степь поет и колышется со всеми движущимися на ней людьми, лошадьми и знаменами.

Испуганные стаи птиц поднимались в воздух и летели перед войском, словно вторая, воздушная рать.

Временами песня и музыка смолкали, и тогда слышался только шум развевающихся знамен, топот и фырканье лошадей, скрип обозных телег, напоминающая собою крик лебедей или журавлей.

Впереди войска, под большим малиновым знаменем и бунчуком, на белом коне и с золоченой булавой в руках, ехал Хмельницкий, одетый в красное. Войско медленно двигалось

---

<sup>6</sup> Вопреки существующему теперь мнению, Боплан утверждает, что запорожская пехота значительно превышала конницу. По его мнению, 200 поляков могли легко разбить 2000 казацкой конницы, но зато 100 пешех казаков могли долго защищаться из-за окопов против 1000 поляков.

на север, точно грозная волна, покрывая собою реки, дубравы и курганы и прерывая шумом и криками степную тишь.

А из Чигорина, с северной стороны пустыни, навстречу этой волне шла другая – коронные войска под предводительством молодого Потоцкого.

Запорожцы и татары шли точно на свободный пир, с веселой песней, а суровые польские гусары двигались в мрачном молчании, неохотно идя на эту бесславную борьбу.

Здесь, под малиновым знаменем, старый, опытный воин грозно потрясал своей булавой, заранее уверенный в победе и мести, а там впереди войска ехал юноша с задумчивым лицом, как бы предугадывая близкую печальную судьбу.

Их разделяло еще большое пространство степи.

Хмельницкий не торопился: он рассчитывал, что чем больше углубится в пустыню молодой Потоцкий и чем дальше отойдет от обоих гетманов, тем легче будет победить его. А тем временем новые беглецы из Чигирина, Поволочи и других украинских городов ежедневно увеличивали собою силы запорожцев, принося одновременно вести о неприятельском стане. Хмельницкий узнал от них, что старый гетман выслал сына сухим путем с двумя тысячами конницы, а шесть тысяч казаков и одну тысячу немецкой пехоты отправил Днепром, на байдаках. Оба отряда получили приказ не удаляться друг от друга, но его пришлось нарушить в первый же день, так как байдаки были унесены быстрым течением Днепра и значительно опередили идущих берегом гусар, движение которых сильно замедлялось переправами через многочисленные реки, впадающие в Днепр.

Поэтому-то Хмельницкий и не спешил, желая; чтобы расстояние между двумя неприятельскими отрядами увеличилось еще больше. На третий день похода он расположился лагерем для отдыха у Камышовой Воды.

А разведчики отряда Тугай-бея поймали тем временем двух драгун, беглецов из отряда Потоцкого. Они бежали день и ночь и значительно опередили свой отряд Их сейчас же привели к Хмельницкому.

Их рассказы подтвердили то, что уже было известно Хмельницкому о силах молодого Стефана Потоцкого; кроме того, он узнал, что предводителями казаков, плывших вместе с немецкой пехотой, были старый Барабаш и Кшечовекий.

Услышав это имя, Хмельницкий вскочил с места.

– Кшечовекий, полковник реестровых переяславских казаков?! – воскликнул он.

– Он самый, ясновельможный гетман! – отвечали драгуны.

Хмельницкий обратился к окружавшим его полковникам.

– Вперед! – скомандовал он громовым голосом.

Через час войско двинулось в путь, хотя солнце уже садилось и ночь не обещала быть светлой. Западная сторона неба была вся покрыта страшными и темными, похожими на какие-то чудовища тучами, которые надвигались друг на друга, словно желая вступить в борьбу.

Отряд направлялся в левую, сторону, к берегу Днепра. Теперь он уже шел молча, без песен и боя в литавры, и настолько быстро, насколько позволяла трава, которая была местами так высока, что в ней тонули целые полки, а разноцветные знамена казались плывущими по степи. Конница пробивала дорогу пехоте и обозу, которые двигались с большим трудом и вскоре значительно отстали. А ночь уже покрыла степь. Огромная красная луна медленно выплыла на небо, но, заслоняемая каждую минуту тучами, часто гасла, как лампа, задуваемая ветром.

Было уже далеко за полночь, когда перед глазами казаков и татар появилась огромная черная масса, отчетливо вырисовывающаяся на темном фоне неба.

Это были стены Кудака.

Разведчики, скрытые темнотой ночи, приближались к замку осторожно и тихо, точно волки или ночные птицы. А что если можно будет неожиданно овладеть сонной крепостью?

Но вдруг с крепостного вала сверкнула молния и рассеяла темноту; страшный гул потряс днепровские скалы, и огромное ядро, описав на небе яркую дугу, упало в степную траву.

Мрачный циклоп Гродицкий дал знать, что он не спит.

– Вот пес одинокий! – шепнул Хмельницкий Тугай-бею. – Видит и ночью.

Казачи миновали замок, о взятии которого они не могли и думать в эту минуту, так как им самим навстречу шли коронные войска, и двинулись далее. Но Гродицкий продолжал так палить им вслед, что крепостные стены тряслись; он не столько хотел причинить им вред, – так как они шли на довольно значительном расстоянии, – сколько предупредить войска, плывшие Днепром и, быть может, находившиеся уже недалеко.

Звук кудакских пушек поразил слух Скшетуского. Молодой рыцарь, которого по приказанию Хмельницкого везли в казацком отряде, на другой день по выступлении в поход тяжело заболел. В битве под Хортицею он, правда, не получил ни одной смертельной раны, но зато потерял столько крови, что в нем еле теплилась жизнь. Раны его, перевязанные по-казацки старым кантарным, открылись вновь, у него, появилась горячка, и он в полузабытьи лежал в телеге, не зная, что творится на белом свете. Проснулся он только от грома кудакских пушек. Он открыл глаза, приподнялся на возу и стал озираться вокруг. Казацкий табор крался в темноте, как хоровод теней, а замок гремел и озарялся розоватым дымом; огненные ядра скакали по степи, хрипя и ворча, как разъяренные псы; Скшетуским овладела такая жалость, такая тоска, что он готов был сейчас умереть, чтобы хоть душой быть со своими. Война, война! Но он в отряде врагов, безоружный, больной и не в состоянии даже подняться с Телеги. Польша в опасности, а он не летит спасать ее! А там, в Лубнах, войска, наверное, уж выступают в поход. Князь, сверкая глазами, носится перед рядами войск, и в которую сторону он укажет булавой, в ту сейчас же склоняются копья, как громовые удары. И перед глазами поручика начали вставать все знакомые лица: вот маленький Володыевский летит во главе других с тонкой саблей в руках; это боец из бойцов: с кем он скрестит свою саблю, тот уж погиб наверняка; а там Лодбипента поднимает свой меч! Снесет он три головы или нет? Вот ксендз Яскульский охраняет хоругви и молится, подняв руки к небу, но он бывший солдат и, не будучи иногда в состоянии сдержаться, кричит время от времени: «Бей!» А вот полки несутся вперед, разгоняются, гонят врагов; битва, смятение!

Но вдруг видение меняется. Перед поручиком стоит Елена, бледная, с распущенными волосами, и кричит «Спасай меня, за мной гонится Богун!» Скшетуский вскакивает с телеги, но вдруг чей-то голос, этот раз уже наяву, говорит ему:

– Лежи смирно, детина, не то свяжу!

Это есаул Захар, которому Хмельницкий приказал беречь Скшетуского как зеницу ока; он укладывает его опять в телегу, закрывает лошадиной шкурой и спрашивает:

– Что с тобою?

Скшетуский окончательно приходит в себя. Видения исчезают. Возы идут по самому берегу Днепра. С реки долетает холодный ветер, ночь бледнеет, водяные птицы поднимают свой утренний крик.

– Слушай, Захар, мы уже миновали Кудак? – спрашивает Скшетуский.

– Миновали! – отвечает запорожец.

– А куда мы идем?

– Не знаю. Битва, каже, буде, але не знаю...

При этих словах сердце Скшетуского радостно забило. Он думал, что Хмельницкий будет осаждать Кудак и с этого начнет войну. Но поспешность, с какой казаки двигались вперед, заставляла его предполагать, что коронные войска уже близко, а Хмельницкий миновал крепость для того, чтобы избежать сражения под его пушками. «Может быть, еще сегодня я буду свободен», – подумал поручик, с благодарностью поднимая к небу глаза.

## Глава XIV

Грохот кудакских пушек слышали также и войска, плывшие на байдаках, под предводительством старого Барабаша и Кшечовского.

Состояли эти войска из шести тысяч реестровых казаков и одного полка отборной немецкой пехоты под начальством полковника Ганса Флика.

Николай Потоцкий долго колебался, прежде чем выслал казаков против Хмельницкого, но так как Кшечовский имел на них огромное влияние, а гетман безгранично доверял ему, то он велел казакам принести присягу и с Богом отправил их.

Кшечовский, опытный воин, прославившийся в прежних походах, был обязан Потоцким и званием полковника, и дворянством, которое ему выхлопотали на сейме, и, наконец, обширными имениями, лежавшими при слиянии Днестра и Лядовы и бывшими в полном пожизненном его владении.

Его соединяли с Польшей и Потоцким такие тесные узы, что даже тень подозрения не могла зародиться в душе гетмана. Притом же это был человек в полном расцвете, ему еще не было пятидесяти лет, а за оказанные им услуги стране перед ним открывалась блестящая будущность. Многие видели в нем преемника Стефана Хмельницкого, который начал свою карьеру простым степным казаком, а впоследствии сделался воеводой киевским и сенатором Польши... От Кшечовского зависело пойти этой дорогой, на которую его толкали и мужество, и энергия, и необузданное честолюбие, одинаково жадное и к богатству и к власти. Это же честолюбие заставляло его добиваться питинского староства; а когда его получил вместо него Корбут, он глубоко затаил в сердце обиду и почти заболел с досады и зависти. Теперь, казалось, судьба снова улыбнулась ему; получив от великого гетмана такое важное назначение, он смело мог рассчитывать, что имя его будет известно королю. А это было весьма важно, так как тогда ему стоило только поклониться, чтобы получить грамоту с дорогими шляхетскому сердцу словами: «Бил нам челом и просил нас, а мы, памятуя его заслуги, даем ему итак далее...». Таким путем добивались на Руси богатства и почестей; так же переходили в частные руки огромные пространства степи, принадлежавшей прежде Богу да Польше; таким же путем простой мужичок превращался в пана и льстил себя надеждой, что его потомки будут заседать в сенате.

Кшечовскому, однако, не по сердцу было делить власть с Барабашем, хотя раздел этот был только фиктивным. В действительности же старый черкасский полковник так постарел и осунулся, особенно за последнее время, что жил на земле одним только телом, душа же его и разум находились в состоянии какого-то оцепенения, обыкновенно предшествующего смерти. В начале похода он как будто бы проснулся и начал энергично распоряжаться, словно при звуках военных труб в его жилах быстрее потекла старая солдатская кровь, – в свое время он был известным рыцарем и предводителем, – но когда они двинулись, его усыпили песни казаков и плавное движение лодок, и он забыл обо всем Кшечовский распоряжался и заведовал всем сам; Барабаш просыпался только для еды; наевшись, он по привычке спрашивал о том о сем и, получив кое-как ответы, вздыхал и говорил: «Хотел бы лечь в могилу на другой войне, но да будет воля Божия».

Между тем связь с коронным войском, идущим под предводительством Стефана Потоцкого, была сразу же порвана. Кшечовский ворчал, что гусары и драгуны идут слишком медленно, что слишком много времени теряют при переправах, что у молодого сына гетмана нет военного опыта, но тем не менее велел всем своим людям грести и подвигался вперед.

Байдаки плыли по течению Днепра к Кудаку, все больше и больше удаляясь от коронных войск.

Однажды ночью послышался грохот пушек.

Барабаш спал и не проснулся. Флик, который ехал впереди, пересел в челн и подъехал в Кшечовскому.

– Господин полковник, – сказал он, – это кудакие пушки! Что нам делать?

– Остановите байдаки... Проведем ночь в тростниках!

– Хмельницкий, очевидно, осаждают крепость. По моему мнению, следовало бы отбить его.

– Я не спрашиваю вашего мнения, а только отдаю приказание. Командую я!

– Господин полковник!..

– Стоять и ждать! – сказал Кшечовский.

Но видя, что энергичный немец щиплет свою рыжую бороду и, по-видимому, не думает уступать, мягче прибавил:

– Может быть, завтра к утру подоспеет каштелян со своей артиллерией, а крепость за одну ночь не возьмут.

– А если он не подойдет?

– Будем ждать хоть два дня. Вы не знаете Кудак: они поломают себе на нем зубы, а без каштеляна я не пойду, да и права не имею. Это его дело.

Кшечовский был, по-видимому, прав, и Флик, не настаивая больше, вернулся к своим немцам.

Лодки вскоре подошли к правому берегу и стали прятаться в тростник, густо покрывавший широко разливавшуюся в этом месте реку. Наконец плеск весел стих, лодки скрылись, и река, казалось, совсем обезлюдела. Кшечовский запретил разводиться огонь, петь песни и разговаривать; кругом настала глубокая тишина, прерываемая только далеким отголоском кудаких пушек.

На лодках, однако, никто, кроме Барабаша, не сомкнул глаз. Флик, как настоящий рыцарь, жаждал битвы и птицей полетел бы под Кудак, Казаки тихонько рассуждали между собою, что может случиться с крепостью, выдержит она или нет. А гул орудий все усиливался. Все были уверены, что замок отражает горячий штурм.

– Хмель не шутит, да и Гродицкий тоже! – шептали казаки. – Что-то будет завтра?

Этот же вопрос задавал себе, наверное, и Кшечовский, который сидел на корме своей лодки в глубокой задумчивости. Он хорошо и давно знал Хмельницкого и считал его до сих пор необыкновенно даровитым человеком, которому только негде было развернуться, чтобы взлететь орлом на высоту, теперь же усомнился в этом. Пушки гремели не переставая; неужели Хмельницкий на самом деле осаждают Кудак? Если так, думал Кшечовский, то он погиб.

Как? Подняв все Запорожье, заручившись помощью хана и собрав силу, какую до сих пор не располагал еще ни один из атаманов, он, вместо того чтобы как можно скорее идти на Украину, поднять там чернь и переманить к себе городских казаков, вместо того чтобы как можно скорее уничтожить гетманов и овладеть страной, прежде чем успеют подойти на ее защиту войска, – Хмельницкий, этот опытный воин, штурмует неприступную крепость, которая может задержать его на целый год! И он допустит, чтобы самые лучшие его силы разбились о стены Кудака, как разбиваются волны о днепровские пороги! Неужели он будет ждать, пока гетманы окружают его, как Наливайко под Солоницей?

«Он погиб! – еще раз повторил Кшечовский. – Свои же казаки выдадут его. Неудачный штурм вызовет недовольствие и замешательство; искра бунта погаснет в самом начале, и тогда Хмельницкий сделается не опаснее меча, который сломался у рукоятки. Глупец! Ergo! – подумал затем Кшечовский. – ergo<sup>7</sup>, завтра утром я высажу своих казаков и немцев на берег, а на следующую ночь брошусь на ослабленного штурмом неприятеля, вырежу запорожцев,

---

<sup>7</sup> Следовательно (лат.).

а Хмельницкого, связанного, приведу к гетману. Это его собственная вина – могло бы случиться иначе!»

И разыгравшиеся честолюбивые мечты Кшечовского понеслись, словно на крыльях сокола. Он отлично знал, что молодой Потоцкий никоим образом не может подойти к завтрашней ночи, следовательно, кто снесет голову гидры? Кшечовский! Кто подавит бунт, который может страшным пожаром охватить всю Украину? Кшечовский! Конечно, старый гетман локривится немного, что все это обойдется без участия его сына, но скоро и перестанет, а между тем все лучи славы и королевская милость озарят чело победителя.

Нет, придется, однако, поделиться славой со старым Барабашем и Гродицким! Пан Кшечовский сперва сильно омрачился, но тут же повеселел. Старое это бревно, Барабаш, уже одной ногою в могиле, а Гродицкому позволь только в Кудаке сидеть и татар время от времени пугать, больше ничего ему не надобно. Так что остается только он, Кшечовский.

Вот бы гетманства украинского добиться!

Звезды мерцали в небесах, а полковнику казалось, что это камни драгоценные в булаве сверкают; ветер шуршал в очерете, а ему чудилось, что шумит бунчук гетманский.

Пушки Кудака продолжали грохотать.

«Хмельницкий шею под топор подставит, – продолжал размышлять полковник, – но тут он сам виноват! А могло быть по-другому! Вот если бы он сразу пошел на Украину». Могло по-другому быть! Там все кипит и бурлит, там порох, ждущий искры. Польша могуча, но побороть Украину у нее сил не хватит, а король немолод и немощен!

Одна выигранная запорожцами битва имела бы неслыханные последствия...

Кшечовский спрятал лицо в ладони и сидел неподвижный, а звезды меж тем скатывались все ниже и ниже и потихоньку пропадали за степной кромкой Перепела, сокрытые в травах, начали подавать голоса. Близился рассвет.

В конце концов мысли полковника утвердились в единственном решении. Завтра он ударит на Хмельницкого и разобьет его в пух и прах. Через его труп достигнет он богатств и почестей, станет орудием кары в руке Польши, ее избавителем, а в будущем ее сановником и сенатором. После победы над Запорожьем и татарами ему ни в чем не откажут.

А лигинского староства все ж не дали.

Вспомнив это, Кшечовский сжал кулаки. Не дали ему староства, несмотря на могучую поддержку протекторов его, Потоцких, несмотря на собственные его военные заслуги, и все потому, что был он homo novus<sup>8</sup>, а его соперник от князей родословие вел. В этой Польше не довольно стать шляхтичем, надо дожидаться, чтобы шляхетство твое покрылось плесенью, как винная бутылка, чтобы заржавело, точно железо.

Только Хмельницкий мог изменить заведенный порядок, к чему, надо думать, и сам король отнесся бы благосклонно, но предпочел, несчастный, разбить башку о кудакские утесы.

Полковник понемногу успокаивался. Ну не дали ему староста – что из того? Тем более сделают теперь все, чтобы его вознаградить, особенно же после победы и подавления бунта, после избавления Украины от братоубийственной войны, – да чего там! – всей Польши избавления! Тут уж ему ни в чем не откажут, тут ему и в Потоцких надобности не будет.

Сонная голова его склонилась на грудь, и он уснул, грезя о староствах, каштелянствах, о пожалованиях королевских и сеймовых...

Когда Кшечовский проснулся, уже развиднелось. На байдаках все еще спали. В отдалении поблескивали в бледном предрассветном свете днепровские воды. Вокруг была мертвая тишина. Тишина эта его и разбудила.

Кудакские пушки не палили.

«Что это? – подумал Кшечовский. – Первый штурм отбит? Или же Кудак взяли?»

<sup>8</sup> Выскочка (лат.).

Но такого быть не может!

Нет! Просто отброшенное казачье затаилось где-нибудь подальше от крепости и зализывает раны, а кривой Гродицкий поглядывает на них из бойниц, поточнее наводя пушки.

Завтра они снова пойдут на приступ и снова сломают зубы.

Меж тем совсем поутрело. Кшечовский поднял людей на своем байдаке и послал лодку за Фликом.

Тот незамедлительно прибыл.

– Господин полковник! – сказал Кшечовский. – Если до вечера каштелян не подойдет, а к ночи штурм не повторится, мы двинемся крепости на помощь.

– Мои люди готовы, – ответил Флик.

– Раздай же им порох и пули.

– Уже роздано.

– Ночью высадимся на берег и безо всякого шума пойдем степью. Нападем неожиданно.

– Gut! Sehr gut<sup>9</sup>! Но не проплыть ли на байдаках еще немного? До крепости мили четыре.

Для пехоты неблизко.

– Пехота сядет на запасных лошадей.

– Sehr gut!

– Пускай люди тихо сидят по камышам, на берег не выходят и шума не поднимают. Огня не зажигать, а то нас дым выдаст. Неприятель не должен знать о нас ничего.

– Туман такой, что и дыма не увидят.

И точно, сама река и рукав ее, заросший очеретом, в котором скрывались байдаки, и степи – все, куда ни погляди, было погружено в белый непроглядный туман. Правда, пока что было раннее утро, а потом туман мог рассеяться и степные пространства открыть.

Флик отплыл. Люди на байдаках потихоньку просыпались; тотчас же было объявлено распоряжение Кшечовского сидеть тихо так что за утреннюю еду принимались без обычного бивачного гама. Пройди кто-нибудь берегом или проплыви по реке, ему бы даже в голову не пришло, что в излучине этой находится несколько тысяч человек. Коней, чтобы не ржали, кормили с руки. Байдаки, скрытые туманом, затаившись, стояли в камышовой чащобе. То и дело прошмыгивала лишь маленькая двухвесельная лодочка, развозившая сухари и приказы, но в остальном царило гробовое молчание.

Внезапно вдоль всего рукава в травах, тростнике, камышах и прибрежных зарослях послышались странные и многочисленные голоса:

– Пугу! Пугу!

Молчание...

– Пугу! Пугу!

И снова наступила тишина, словно бы голоса эти, окликавшие с берега, ждали ответа.

Ответа не было. Призывы прозвучали и в третий раз, но уже резче и нетерпеливее:

– Пугу! Пугу!

Тогда со стороны челнов из тумана раздался голос Кшечовского:

– Кто еще там?

– Казак с лугу!

У казаков, скрытых в байдаках, тревожно забились сердца. Этот таинственный зов был хорошо знаком им. Так переговаривались обыкновенно между собою запорожцы на зимовниках, а в военное время приглашали своих собратьев – реестровых и городских казаков, между которыми многие тайно принадлежали к запорожскому братству.

– Что вам надо? – снова раздался голос Кшечовского.

---

<sup>9</sup> Хорошо! Очень хорошо! (нем.).

– Запорожский гетман Богдан Хмельницкий, дает вам знать, что его пушки обращены в вашу сторону.

– Скажите запорожскому гетману, что наши пушки обращены на берег...

– Пугу! Пугу!

– Чего еще хотите?

– Богдан Хмельницкий, запорожский гетман, приглашает своего приятеля, полковника Кшечовского, побеседовать с ним.

– Пусть дает заложников!

– Десять куренных?

– Хорошо!

В ту же минуту берега покрылись запорожцами, которые до этого скрывались в траве. В глубине степи показались приближающиеся конница, пушки, сотни хоругвей, знамен и бунчуков. Они шли с пением и боем в литавры. Это шествие напоминало скорее радостную встречу, чем столкновение неприятельских сил.

Казаки с байдаков отвечали криками. Тем временем подъехали лодки с куренными атаманами. Кшечовский сел в одну из них и отъехал к берегу. Там ему подали коня и проводили к Хмельницкому.

Увидав его, Хмельницкий снял шапку и радостно приветствовал его.

– Полковник! – сказал он. – Мой старый приятель и кум! Когда коронный гетман приказал тебе поймать меня и представить в отряд, ты не сделал этого, наоборот, предупредил меня, чтобы я спасался бегством. Я обязан тебе за этот поступок благодарностью и братской любовью!

Говоря это, он приветливо протянул руку Кшечовскому, но смуглое лицо последнего осталось холодным как лед.

– А теперь, гетман, когда ты уже спасся, то заводишь бунт? – сказал он.

– Я добиваюсь только прав и своих, и твоих, и целой Украины. У меня в руках королевские грамоты, и я надеюсь, что милостивый король не сочтет это злом.

Кшечовский, пристально всматриваясь в глаза Хмельницкого, спросил с ударением:

– Ты осаждал Кудак?

– Я? Разве я сошел с ума? Я миновал Кудак без единого выстрела, хоть старый слепец и потчевал меня пушечной стрельбой. Мне было не до Кудака, я торопился на Украину и к тебе, моему старому другу и благодетелю.

– Чего же ты хочешь от меня?

– Отъедем немножко в степь и поговорим.

Они отъехали. Через час они вернулись; лицо Кшечовского было бледно и страшно. Он тотчас же начал прощаться с Хмельницким, который сказал ему на прощание:

– Нас будет только двое в этой Украине, а над нами один только король и никто больше!

Кшечовский вернулся к лодкам. Старый Барабаш, Флик и казаки с нетерпением ждали его.

– Что там? – спрашивали со всех сторон.

– Высаживаться на берег! – ответил повелительным голосом Кшечовский.

Барабаш поднял свои сонные веки; в его глазах мелькнул какой-то огонек.

– Как же это? – спросил он.

– Высаживаться на берег, сдаемся!

Кровь прилила к бледному и желтому лицу Барабаша. Он вскочил с барабана, на котором только что сидел, и выпрямился: дряхлый старик превратился в полного жизни и силы великана.

– Измена! – закричал он.

– Измена! – повторил за ним и Флик, хватаясь за рукоятку сабли.

Но не успел он обнажить ее, как Кшечовский, взмахнув саблей, одним ударом уложил его на месте.

Затем, перескочив из байдака в старый челн, в котором сидело четыре запорожца с вилами в руках, он громко крикнул:

– К лодкам!

Челнок помчался стрелой. Кшечовский же, стоя посередине лодки, с надетой на окровавленную саблю шапкой и пылающими глазами, кричал могучим голосом:

– Дети! Не будем убивать своих! Да здравствует запорожский гетман, Богдан Хмельницкий!

– Да здравствует гетман! – повторили тысячи голосов.

– Погибель ляхам!

– Погибель!

Крикам в лодках вторили крики запорожцев, находившихся на берегу. Многие, стоявшие в дальних лодках, не знали еще, в чем дело, но как только разнеслась весть, что Кшечовский переходит к запорожцам, казаками овладел безумный восторг. Шесть тысяч шапок взлетело на воздух, из шести тысяч ружей грянули выстрелы. Байдаки тряслись от топота казаков. Начался страшный шум и давка. Однако радости этой суждено было обогреться кровью, потому что старый Барабаш предпочитал лучше погибнуть, чем изменить знамени, под которым прослужил всю свою жизнь.

К нему присоединилось еще несколько десятков черкасских казаков, и вот началась борьба, короткая, но страшная, как вообще всякая борьба, где горсть людей, добивающихся не пощады, а смерти, сопротивляется целой толпе. Ни Кшечовский, ни казаки не ожидали такого сопротивления. В старом полковнике проснулся прежний лев. На призыв сложить оружие он отвечал выстрелами и, стоя с булавой в руках и развевающимися седыми волосами, громовым голосом отдавал приказания.

Лодку его окружили со всех сторон. Казаки, которые не могли протиснуться к нему на байдаках, прыгали в воду и вплавь или вброд пробирались между тростниками, хватались за края лодки и с яростью лезли в нее. Сопротивление продолжалось недолго. Верные Барабашу казаки все уже были исколоты, изрублены или просто разорваны руками, и трупы их покрыли весь байдак. Только Барабаш сопротивлялся еще с саблей в руках.

Кшечовский протиснулся к нему и крикнул:

– Сдайся!

– Изменник! Погибель тебе! – ответил Барабаш, взмахнув кверху саблей.

Кшечовский поспешно спрятался в толпу.

– Бей! – крикнул он казакам.

Но никто, казалось, не хотел первым поднять, руку на старика; к несчастью, старый полковник поскользнулся в крови и упал. Лежа, он уже не возбуждал такого уважения или страха, и несколько десятков копий тотчас же вонзились в его тело. Старик успел только крикнуть: «Иисусе Христе! Мать Божия!»

Старика начали рубить на куски. Отрубленную голову перебрасывали с байдака на байдак, играя ею, как мячом, до тех пор, пока она от чьего-то неловкого движения не упала в воду.

Оставались еще немцы, с которыми справиться было гораздо труднее, так как отряд этот состоял из тысячи старых закаленных в войнах солдат. Флик, правда, уже пал от руки Кшечовского, но во главе отряда остался еще подполковник Иоганн Вернер, ветеран Тридцатилетней войны.

Кшечовский был уверен, что возьмет над немцами верх, так как байдаки их были окружены со всех сторон казаками, но ему хотелось сохранить для Хмельницкого такой деятельный и хорошо вооруженный отряд пехоты целым; он вступил с ними в переговоры.

Некоторое время ему казалось, что Вернер уже соглашается с ним, потому что он спокойно говорил с Кшечовским, внимательно слушая все его обещания, на которые полковник не скупился.

Он обещал им выдать жалованье, задержанное Польшей, за все истекшее уже время и за год вперед. Через год солдаты могли бы идти куда им захочется, хотя бы в коронное войско.

Вернер, казалось, раздумывал, а сам тем временем тихо отдавал приказания двинуть байдаки так, чтобы они образовали замкнутый круг. По краям лодок стали стеной пехотинцы, рослые и сильные, одетые Ж желтые колеты и такого же цвета шапки, в полном боевом порядке, с выдвинутой для стрельбы вперед левой ногой и с мушкетами с правого бока.

Вернер стал с обнаженной саблей в руках в первом ряду и долго раздумывал. Наконец, подняв голову, сказал:

– Хорошо, мы согласны!

– Вы ничего не потеряете на новой службе! – закричал радостно Кшечовский.

– Но с условием...

– Соглашаюсь заранее!

– Тем лучше! Наша служба у Польши кончается в июне, и тогда мы перейдем к вам.

С уст Кшечовского сорвалось проклятье, но он сдержался.

– Вы шутите со мной, господин лейтенант? – спросил он.

– Нисколько! – флегматично ответил Вернер. – Наша солдатская честь велит нам хранить договор. Служба наша кончается в июне. Мы хотя и служим за деньги, но не изменяем. Иначе никто бы не нанимал нас, да и вы сами не доверяли бы нам, потому что кто бы мог поручиться вам, что мы при первой же битве не перейдем снова к гетманам?

– Чего же вы хотите?

– Чтобы вы дали нам возможность уйти!

– Этого не будет, шальная голова! Я велю всех тогда перерезать!

– А сколько ты потеряешь своих?

– Ни один из вас не уйдет!

– А вас не останется и половины!

Оба были правы; поэтому Кшечовский не хотел еще начинать битвы, хотя спокойствие немца заставляло кипеть его кровь и доводило до бешенства.

– Пока солнце не скрылось еще отсюда – одумайтесь; а потом я велю стрелять! – крикнул им Кшечовский, поспешно отъезжая, чтобы посоветоваться с Хмельником.

Настало ожидание. Казацкие байдаки еще теснее окружили немцев, сохранявших при виде опасности спокойствие и невозмутимое хладнокровие старых и опытных войной. На оскорбления и угрозы, летевшие каждую минуту с казацких лодок, они отвечали презрительным молчанием. Было что-то поражающее в этом спокойствии, среди усиливающихся взрывов ярости казаков, которые, грозно потрясая своими копьями и пищалями, нетерпеливо ожидали сигнала к битве.

А солнце тем временем постепенно перешло на западную сторону неба и скрылось совсем. Послышался трубный сигнал, а вслед за ним раздался голос Кшечовского:

– Солнце уже скрылось! Одумались ли вы?

– Да! – ответил Вернер и, повернувшись к солдатам, махнул, обнаженной саблей. – Пали! – скомандовал он спокойным, флегматичным голосом.

Раздались выстрелы. Плеск падающих в воду тел, яростные крики и отчаянная стрельба были ответом на звуки немецких мушкетов. Вытащенные на берег пушки загудели басом и начали осыпать ядрами немецкие байдаки. Река совершенно покрылась дымом, и только равномерные выстрелы мушкетов, раздававшиеся среди криков, грохота пищалей и самопалов, свидетельствовали о том, что немцы продолжают защищаться.

Битва продолжалась после захода солнца, но, казалось, уже ослабевала. Хмельницкий, в сопровождении Тугай-бея, Кшечовского и нескольких атаманов, подъехал к самому берегу, чтобы следить за битвой. Раздутые его ноздри втягивали пороховой дым, а слух упивался криками тонущих и умирающих немцев. Все трое смотрели на эту резню, как на представление, которое служило им также и счастливым предзнаменованием.

Битва приходила к концу. Выстрелы смолкли, а вместо них все громче и громче раздавались торжествующие крики казаков.

– Тугай-бей! – обратился к нему Хмельницкий. – Это первый день победы.

– Нет пленных! – проворчал мурза. – Не хочу я таких побед.

– Наберем пленных на Украине! Наполнишь тогда своими пленниками весь Стамбул и Галату.

– Возьму тебя, если не будет других!

Сказав это, дикий Тугай-бей зловеще рассмеялся, прибавив через несколько минут.

– Однако я охотно взял бы этих «франков».

Битва уже совсем прекратилась. Тугай-бей повернул коня к обозу, за ним – и другие.

– Ну теперь на Желтые Воды! – крикнул Хмельницкий.

## Глава XV

Скшетуский, услышав звуки битвы, с тревогой ожидал ее окончания, предполагая сначала, что Хмельницкий столкнулся со всеми силами гетманов.

Но под вечер старый Захар вывел его из заблуждения. Весть об измене казаков под предводительством Кшечовского и об избиении немцев потрясла молодого рыцаря до глубины души; она служила началом к дальнейшим изменам, так как поручик отлично знал, что немалая часть гетманских войск состоит преимущественно из казаков.

Беспокойство поручика все возрастало, а ликование в запорожском войске еще прибавляло к нему горечи. Все представлялось ему в самом мрачном свете. О князе не было никаких известий, а гетманы, очевидно, сделали страшную ошибку: вместо того чтобы соединенными силами двинуться к Кудаку или же ждать врага в Украине, они разделились и, добровольно ослабив себя, предоставили возможность своим врагам прибегать к измене и вероломству. В запорожском отряде говорили, правда, еще и раньше о Кшечовском и о высылке отдельного войска под предводительством Стефана Потоцкого, но поручик не верил этим слухам. Он думал, что это хотя и сильные, но передовые отряды и что они будут вовремя отозваны назад. А на деле случилось иначе. Хмельницкий, благодаря измене Кшечовского, увеличил свои силы несколькими тысячами казаков, и молодого Потоцкого ожидала теперь страшная опасность. Хмельницкому легко было окружить и уничтожить его, лишенного помощи и заблудившегося в пустыне.

В бессонные ночи, мучимый болью от ран и тревогой, Скшетуский утешал себя мыслью о князе. Звезда Хмельницкого должна померкнуть, когда князь зашевелится в своих Лубнах. А кто знает, может, он уже присоединился к гетманам? Хотя силы Хмельницкого были значительны и начало похода благоприятно для него, хотя с ним шел Тугай-бей, а в случае неудачи обещал прийти на помощь и сам крымский царь, Скшетуский и мысли не допускал, что это восстание может долго продолжаться и что один казак способен потрясти всю Польшу и сломать ее грозную силу. «Эта волна разобьется у порога Украины, – думал поручик, – Чем обыкновенно кончались все прежние казачьи бунты? Они вспыхивали, как огонь, и гасли при первом же столкновении с гетманами. Так было до сих пор. С одной стороны, в бой вступала горсть низовских разбойников, с другой – могущественное государство, омываемое двумя морями, развязка была понятна. Буря не может долго продолжаться – она пройдет, и горизонт снова прояснится». Эта мысль подкрепляла Скшетуского, и только она поддерживала его на ногах; иначе он не перенес бы тягостного бремени, подобного которому не испытывал еще ни разу в жизни.

Буря пройдет, но она может опустошить поля, разрушить дома и причинить множество бед. Ведь и сам он чуть было не лишился из-за нее жизни, потерял силы и попал в неволю как раз в то время, когда свобода была ему дороже жизни. Что же могут перенести из-за нее существа более слабые, чем он, и не умеющие защищаться? Что станет с Еленой в Разлогах?

Но Елена, должно быть, уже в Лубнах. Он часто видел ее во сне, окруженную дружескими лицами и приголубленную самим князем и княгиней Гризельдой. Рыцари восхищаются ею, а она тоскует о своем возлюбленном, который пропал где-то в Сечи. Но настанет время и он вернется: ведь сам Хмельницкий обещал ему свободу. Да, казацкая волна все плывет да плывет к порогу Польши, но она разобьется, и тогда придет конец его тоске и заботам.

Волна действительно плыла. Хмельницкий, не останавливаясь, шел навстречу сыну гетмана. Силы его были грозны: с казаками Кшечовского и отрядом Тугай-бея он вел с собою около 25000 опытных и жаждущих битвы воинов. О силах Потоцкого не было достоверных известий. Беглецы из его отряда говорили, что он ведет две тысячи тяжелой кавалерии и несколько пушек. Исход битвы при таких силах сомнителен; иногда случалось, что достаточно было

одной только атаки гусар, чтобы уничтожить врага в десять раз сильнее. Например, Ходкевич, литовский гетман, под Кирхгольмом с тремя тысячами гусар разбил в прах восемнадцать тысяч отборной шведской пехоты и кавалерии; а под Клушином один панцирный полк разнес несколько тысяч английских и шотландских наемников. Хмельницкий помнил все, это и, по словам русского летописца, шел медленно и осторожно: «многим ума своего очами, как и хитрый ловец, глядя во все стороны и имея стражу на милю и больше впереди отряда». Так подошел он к Желтым Водам, где опять были пойманы два беглеца; они подтвердили вести о незначительных силах коронного войска и сообщили, что каштелян уже переправился через Желтые Воды. Узнав это, Хмельницкий сейчас же остановился и окружил себя окопами.

Сердце его радостно билось. Если Потоцкий отважится штурмовать его, то будет разбит. Казаки не умеют бороться в открытом поле, но из-за окопов бьются отлично и при таком превосходстве сил наверняка отразят штурм. Хмельницкий рассчитывал на молодость и неопытность Потоцкого. Но при молодом каштеляне был опытный воин, сын живецкого старосты, гусарский полковник Стефан Чорпецкий. Он заметил опасность и убедил каштеляна опять перейти Желтые Воды.

Хмельницкому ничего больше не оставалось, как двинуться за ними. На другой день, перейдя желтоводские болота, оба войска стали лицом к лицу.

Но ни один из вождей не хотел ударить первым. Неприятели начали поспешно окружать себя шанцами. Это было в субботу, пятого мая. Целый день лил дождь. Тучи так заволокли небо, что уже после полудня стало совсем темно, точно зимой. Под вечер ливень усилился, и Хмельницкий от радости потирал руки.

– Пусть только размокнет степь, – говорил он Кшечовскому, – тогда я не буду раздумывать и начну битву; гусары в своих тяжелых доспехах потонут в этом болоте.

А дождь все лил и лил, словно само небо хотело прийти на помощь запорожцам. Войско лениво окапывалось под этим ливнем. Развести огонь было немыслимо. Несколько тысяч ордынцев вышли из лагеря сторожить, чтобы польский отряд не вздумал уйти, пользуясь туманом и дождем. Настала глубокая тишина. Слышался только шум дождя да порывы ветра. В обоих отрядах никто, наверное, не сомкнул глаз.

На другой день утром в польском лагере раздался сигнал, протяжный и жалобный, потом то тут, то там забили барабаны. День наступал мрачный, темный и сырой; ливень прекратился, но все-таки падал мелкий дождь, точно просеянный сквозь сито.

Хмельницкий велел выстрелить из пушки. За первым выстрелом последовал второй, третий, десятый, и когда между противными лагерями завязалась обыкновенная пушечная «корреспонденция», Скшетуский обратился к своему казацкому ангелу-хранителю:

– Захар, отведи меня на шанцы, я хочу посмотреть, что там делается.

Захару самому интересно было посмотреть, и он не противился. Они отправились на высокий бастион, откуда, как на ладони, видны были и размокшая степная равнина, и желтоводские болота, и оба войска. Взглянув на них, Скшетуский схватился за голову и крикнул:

– Боже праведный! Да ведь это отряд, не больше!

И действительно, окопы казачьего войска тянулись почти на четверть мили, а польские казались перед ними маленьким шанцем. Неравенство сил было так очевидно, что не оставалось никакого сомнения в победе казаков.

Сердце поручика сжалось от боли. Значит, не настал еще час усмирения бунта, а тот, который настанет, будет только новым его триумфом.

Стычки уже начались. С бастиона виднелись отдельные всадники и целые кучки сражающихся. Это татары бились с казаками Потоцкого, одетыми в синие и желтые цвета. Всадники быстро наезжали друг на друга и так же быстро отскакивали; заезжали и с боков, стреляя в неприятеля из пистолетов и луков или стараясь накинуть аркан. Издали эти схватки казались

забавой, и только скакавшие без седоков кони свидетельствовали о том, что дело идет о жизни и смерти.

Татар высыпало все больше и больше. Вскоре все болото почернело от скученной татарской массы. Из польского лагеря стали также выходить новые отряды и выстраиваться в боевом порядке перед окопами. Они были так близко, что Скшетуский своим зорким взглядом мог ясно различить значки и бунчуки и даже рассмотреть ротмистров и поручиков, стоявших по бокам знамен.

Сердце его затрепетало, и яркий румянец выступил на бледном лице; словно надеясь встретить сочувственных слушателей в Захаре и казаках, стоявших на бастионе у пушек, он, глядя на показавшиеся из-за окопов знамена, с увлечением восклицал:

– Это драгуны Балабана; я видел их в Черкассах. А это валахский полк, у них на знамени крест! А вот выступает пехота! А вот и гусары! Гусары Чарнецкого! – кричал он в еще большем восторге.

Действительно, это были гусары, над головами которых виднелась целая туча крыльев и торчащие сверху копыя, украшенные золотистыми китайками и зеленовато-черными значками. Они выступали из окопов по шести в ряд и выстраивались у вала; при виде их спокойствия и боевой выправки на глазах Скшетуского выступили слезы радости.

Хотя силы были неравны, так как против нескольких этих отрядов чернела целая масса запорожцев и татар, так далеко раскинувшаяся по степи, что не видно было ее конца, все-таки Скшетуский был уверен в победе. Лицо его озарилось радостной улыбкой, силы вернулись к нему; глаза, устремленные в поле, горели огнем, и он не мог устоять на месте.

– Дитя! – пробормотал старый Захар. – Хотела бы душа в рай!

Между тем несколько татарских отрядов с криками «алла!» бросились вперед. Из лагеря им ответили выстрелами. Но это была простая угроза: татары, не добежав даже до польских полков, рассыпались и, вернувшись к своим, исчезли в толпе.

Вскоре раздался звук большого сечевого барабана, и по его сигналу огромный казацко-татарский отряд, выстроенный полумесяцем, галопом поскакал вперед. Хмельницкий, очевидно, пытался одним взмахом уничтожить отряд и захватить обоз. Это было бы возможно, если бы в польском войске произошла паника, но ничего подобного там не замечалось. Поляки стояли спокойно, вытянувшись в длинную линию, защищенные с тылу валом, а с боков – пушками, так что ударить по ним можно было только с фронта. Несколько мгновений казалось, что они начнут битву с места, но когда неприятельский отряд проехал уже половину болота, в польском отряде раздался сигнал к атаке, и вдруг лес копий, торчавший до тех пор сверху, разом склонился в уровень с конскими головами.

– Гусары начали атаку! – крикнул Скшетуский.

Гусары пригнулись к седлу и поскакали вперед, за ними двинулись драгунский полк и вся боевая линия. Удар, нанесенный ими, был страшен. При первом же натиске они наткнулись на три куреня – два Стебловских и один Миргородский – и в одно мгновение уничтожили их. Крик их долетел даже до слуха Скшетуского. Коня и люди, сбитые с ног страшной тяжестью железных всадников, падали, как лес от бури. Соппротивление было так коротко, что Скшетускому казалось, будто какой-то гигантский змей сразу проглотил эти три полка. А они ведь считались одними из лучших в Сечи. Испуганные развешивающимися крыльями гусар, кони начали производить замешательство среди запорожского войска. Полки Ирклевский, Каппоболоцкий, Минский, Шкуринский и Титоровский совсем смешались и под напором отступающих стали сами отступать в беспорядке. А драгуны тем временем догнали гусар и вместе с ними принялись за кровавую жатву. Васюринский курень, после отчаянного, но короткого сопротивления, отступал в дикой панике до самых окопов. Центр сил Хмельницкого ослабевал все больше и больше и, сбитый в беспорядочную массу, поражаемый мечами и давимый железным натиском, не мог выбрать мгновения, чтобы выстроиться снова.

– Черти, а не ляхи! – крикнул старый Захар.

Скшетуский вел себя словно помешанный. Ослабший от болезни, он не мог владеть собой: одновременно и смеялся и плакал, а временами даже кричал слова команды, как будто сам командовал полком. Захар еле удерживал его за полы.

Битва происходила так близко от казацкого обоза, что можно было даже различить лица. С окопов стреляли из пушек, но казацкие ядра, поражая наравне с неприятелем и своих, еще больше увеличивали смятение.

В эту минуту в бой вступил Кшечовский во главе своих пяти тысяч казаков.

Сидя на буланом коне, он мчался в первой шеренге без шапки, с поднятой саблей в руке, сзывая к себе убегающих казаков, которые, увидев подошедшую помощь, возвращались назад и хотя беспорядочно, но все-таки приступали к атаке. В середине линии снова закипела борьба. На флангах же счастье было не на стороне Хмельницкого. Татары, дважды отбитые валахским полком и казаками Потоцкого, потеряли всякую охоту к битве. Под Тугай-беем были убиты, две лошади. Победа положительно клонилась на сторону молодого Потоцкого...

Битва, однако, продолжалась недолго. Ливень, усиливавшийся все больше и больше, мешал даже различать предметы. Дождь падал уже целыми потоками. Степь превратилась в озеро. Сделалось так темно, что в нескольких шагах нельзя было разглядеть человека. Шум дождя заглушал команды. Подмоченные самопалы и мушкеты поневоле смолкли. Само небо положило конец резне...

Хмельницкий, промокший до нитки и взбешенный, влетел в свой лагерь. Он не сказал никому ни слова. Ему разбили палатку из верблюжьих шкур, где он укрылся и, сидя в одиночестве, думал свою горькую думу.

Его охватило отчаяние. Он только теперь понял, за что взялся. Он был побит и почти уничтожен в бою с такими незначительными силами, которые можно было считать лишь простым передовым отрядом. Он знал, как велика оборонительная сила Польши, и когда решил начать войну, то принимал ее в расчет, но обманулся. Так, по крайней мере, казалось ему в данную минуту; он хватался за бритый лоб, как бы желая разбить его о первое попавшееся оружие.

Что же будет, когда придется иметь дело с гетманом и со всей Польшей?

Его размышления были прерваны приходом Тугай-бея.

Глаза татарина сверкали бешенством, лицо было бледно, а зубы сверкали из-под безусых губ.

– Где добыча? Где пленные? Где головы вождей? Где победа? – спрашивал он хриплым голосом.

Хмельницкий вскочил с места.

– Там! – ответил он громко, указывая в сторону коронного войска.

– Ступай же туда! – заревел Тугай-бей. – А не пойдешь, так я на веревке потащу тебя в Крым!

– Лойду! – сказал Хмельницкий. – Пойду еще сегодня! Возьму и добычу и пленных, но ты ответишь хану: хочешь добычи, а избегаешь боя!

– Собака! – заревел Тугай-бей. – Ты губишь ханское войско.

Они несколько мгновений стояли друг против друга, раздув ноздри. Первым опомнился Хмельницкий.

– Успокойся, Тугай-бей! – сказал он. – Дождь помешал битве, но Кшечовский уже почти разбил драгун. Я знаю их: завтра они будут драться уже не так бешено. До завтра степь размокнет совсем, гусары падут. Завтра все будет наше!

– Смотри же! – проворчал Тугай-бей.

– Я сдержу свое слово! Но послушай. Тугай-бей, ведь хан прислал мне тебя на помощь, а не на беду.

– Ты обещал победу, а не поражения!

– Несколько драгун уже взято нами в плен, и я отдам их тебе.

– Отдай. Я велю посадить их на кол.

– Не делай этого! Отпусти их на волю. Это украинцы из полка Балабана; мы пошлем их переманить нам драгун. Будет то же, что и с Кшечовским.

Тугай-бей смягчился; он быстро взглянул на Хмельницкого и пробормотал:

– Змея!

– Хитрость то же, что и мужество. Если они подготовят драгун к измене, тогда из их лагеря не уйдет ни одна нога, понимаешь?

– Я возьму Потоцкого.

– Я тебе отдам и Чарнецкого.

– А пока дай водки, потому что холодно.

– Ладно!

В эту минуту вошел Кшечовский. Полковник был мрачен как ночь. Ожидаемые им в будущем староства, каштелянства, замки и богатства после сегодняшней битвы заволокло непроницаемым туманом. Завтра они могут окончательно исчезнуть, а из тумана вместо них вынырнет веревка или виселица. Если бы полковник не перебил немцев, то он, наверное, мечтал бы теперь изменить Хмельницкому и перейти со своими казаками на сторону Потоцкого.

Но это было уже невозможно.

Все трое молча уселись и принялись пить.

Стемнело...

Скшетуский, обессилев от радости, утомленный и бледный, неподвижно лежал в своей телеге.

Захар, искренне полюбивший его, велел своим казакам разостлать под ним войлок. Поручик прислушивался к унылому шуму дождя, но на душе у него было светло, ясно и отрадно. Его гусары показали, на что они способны, это его Польша дала отпор, достойный ее величия; вот уже первый натиск казацкой бури разбился о копья коронных войск. А ведь за ними стоят еще гетманы, князь Иеремия, столько панов и шляхты и, наконец, сам король.

Грудь Скшетуского волновалась от гордости, как будто все это могущество и вся сила заключались теперь в нем одном.

Осознав это, он в первый раз с момента утраты свободы почувствовал некоторую жалость к казакам «Они виноваты, конечно, что в ослеплении бросились на солнце, как мотыльки, – подумал он. – Они виноваты, дав увлечь себя человеку, который ведет их на явную гибель».

Мысли его шли дальше. Вот настанет спокойствие, и тогда каждый будет иметь право подумать о своем личном счастье; и Скшетуский в своих мыслях унесся в Разлоги. Там, по соседству с львиной берлогой, наверное, все тихо; бунт не осмелится поднять там своей головы, а если и поднимет, то Елена уж давно в Лубнах...

Вдруг грохот пушек спутал золотые нити его мечтаний: это Хмельницкий, напившись, снова повел в атаку свои полки.

Но все кончилось только пушечной пальбой: Кшечовский удержал гетмана.

Следующий день, воскресенье, прошел спокойно, без выстрелов. Войска стояли друг против друга, словно во время перемирия.

Скшетуский приписывал это спокойствие упадку духа у казаков. Он не знал, что Хмельницкий, «многими ума своего очами глядя перед собой», занят теперь тем, как бы уговорить драгун Балабана перейти на сторону запорожцев.

В понедельник битва началась с рассветом. Скшетуский смотрел на нее, как и на первую, с веселым, радостным лицом. Снова полки коронного войска выстроились у окопов, однако на этот раз не пустились в атаку, а давали отпор неприятелю с места. Степь совсем размокла, и тяжелая кавалерия почти не могла двигаться, что сразу же дало перевес легким казацким и татарским полкам. Радостное выражение постепенно исчезло с лица Скшетуского. Под поль-

ским окопом атакующая масса совсем почти покрыла узкую линию коронных войск. Казалось, что вот-вот прорвется эта цепь, и тогда начнется атака самых окопов. Скшетуский не видел сейчас и половины того воодушевления и жажды битвы, с какими польские отряды бились в первый день. Они и сегодня защищались отчаянно, но уже не ударили первыми, не разбивали в прах куреней и не очищали перед собою полей. Глубоко размокшая почва степи не допускала такой безумной скачки, как в прошлый раз, и как бы пригвоздила тяжелую кавалерию к окопам. Вся сила и победа ее заключались в натиске, а сегодня она принуждена была стоять на месте. Хмельницкий между тем бросал в бой все новые и новые полки. Он был всюду: сам вводил в битву каждый курень и оставлял его только под неприятельскими саблями. Его воодушевление сообщилось мало-помалу и запорожцам, которые с криком и воем наперебой бросались на окопы и падали густыми рядами. Они ударились о железную стену закованных в латы воинов и острия копий и, разбитые, изувеченные, снова поднимались в атаку. Под этим напором польское войско пошатнулось и местами начало отступать.

К полудню почти все запорожские силы были в огне и в бою, который кипел так сильно, что между двумя линиями сражающихся возник новый вал из лошадиных и человеческих трупов.

Каждую минуту в казачьи окопы возвращались с битвы вереницы раненых воинов, окровавленных, покрытых грязью, изрубленных и падающих от изнеможения. Но все они возвращались с песнями и веселыми лицами, с уверенностью в победе. Теряя уже сознание, они все еще кричали: «Погибель ляхам!» Резервное войско, оставленное в обозе, рвалось в бой.

Лицо Скшетуского омрачилось. Польские полки начали уходить с поля за окопы. Они уже не могли держаться, и в их отступлении была заметна лихорадочная поспешность. Увидев это, двадцать тысяч казацких голосов радостно закричали. Казаки удвоили силу напора. Запорожцы налегли на казаков Потоцкого, которые прикрывали собою отступление. Но пушки и град мушкетных пуль отбросили их назад. На мгновение битва прекратилась. В польском лагере раздался звук парламентарной трубы.

Хмельницкий, однако, не хотел вести парламентарных переговоров; двенадцать куреней спешили, чтобы вместе с пехотой и татарами начать штурм вала. Кшечовский с тремя тысячами пехоты должен был в решительную минуту прийти им на помощь. Раздались звуки котлов, литавр и труб, заглушая крики и залп мушкетов.

Скшетуский дрожа смотрел, как огромные шеренги несравненной казацкой пехоты подбежали к валу и окружили его тесным кольцом. Навстречу им из окопов вырвались длинные белые полосы дыма, как будто чья-то исполинская грудь хотела сдунуть эту саранчу, неумолимо напиравшую со всех сторон. Пушечные ядра пробивали в ней борозды, выстрелы самопалов становились все чаще и чаще. Пальба не прекращалась ни на минуту – весь этот муравейник таял на глазах, местами судорожно извиваясь, как раненый исполинский змей, но все-таки шел вперед. Вот они уже у вала! Пушки не могут уже больше вредить им! Скшетуский закрыл глаза. Вопрос, увидит ли он еще на валах польские знамена, когда откроет глаза, молнией пролетел в его уме. Шум увеличивается, там творится что-то немыслимое. Из середины обоза слышатся крики. Что же случилось?

– Боже Всемогущий – вырвался крик из груди Скшетуского, когда, открыв глаза, он увидел на валу вместо большого золотого коронного знамени малиновое с изображением Архангела.

Польский обоз был взят.

Поручик только вечером узнал от Захара о всем ходе штурма. Тугай-бей недаром назвал Хмельницкого змеей: в минуту самой отчаянной битвы подговоренные им драгуны Балабана перешли вдруг на сторону казаков и, бросившись с тылу на свои знамена, помогли уничтожить их.

В тот же вечер Скшетуский видел пленников и присутствовал при смерти молодого Потоцкого, который лежал с пробитым стрелой горлом; он прожил всего несколько часов после битвы и умер на руках Стефана Чарнецкого.

– Скажите отцу, – шептал в последние минуты молодой каштелян, – что я... как рыцарь...

И дальше он уже ничего не мог сказать. Душа оставила тело и отлетела на небо.

Скшетуский потом долго помнил это бледное лицо и голубые глаза, устремленные вверх в минуту смерти.

А Чарнецкий дал обет над остывающим его телом, что если Бог поможет ему вернуть свободу, то он смоет потоками крови смерть друга и позор поражения. Ни одна слеза не скатилась по суровому лицу его: эта был рыцарь с железной силой воли, известный своими подвигами, который никогда еще не сгибался ни под каким несчастьем. Он сдержал свой обет. Теперь же, вместо того чтобы предаваться отчаянию, он ободрял Скшетуского, жестоко страдавшего от поражения и позора Польши.

– Польша перетерпела не одно бедствие, – говорил Чарнецкий, – но зато у нее есть неисчерпаемая сила. Ее не сломила еще никакая другая сила, не сломят теперь и бунты холопов; Бог сам накажет их, так как, восставая против власти, они этим самым противятся Его воле. Что же касается поражения, то оно, конечно, ужасно, но кто же потерпел его? Гетман или коронные войска? Нет! После измены Кшечовского отряд Потоцкого мог считаться лишь простым отрядом. Бунт, несомненно, распространится по всей Украине, но ведь там это не новость. Гетман и князь Иеремия, силы которых еще не тронуты, подавят его; чем сильнее он разгорится, тем на более продолжительное время утихнет после усмирения, а может быть, и навсегда. Слишком малодушным был бы тот, кто допустил бы мысль, что какой-то казацкий бродяга и татарский мурза могут грозить серьезной опасностью могущественному народу. Плохо пришлось бы Польше, если бы ее судьба и существование зависели от простого мужицкого бунта. Мы с презрением выступали в этот поход – закончил Чарнецкий, – и хотя отряд наш уничтожен, но я думаю, что гетманы могут усмирить этот бунт не мечом или оружием, а просто батогами.

Когда он говорил это, казалось, что говорит не пленник и не воин после проигранного сражения, а гордый гетман, уверенный в завтрашней победе. Это величие души и вера в Польшу подействовали как бальзам на раны Скшетуского. Он видел силу Хмельницкого вблизи, поэтому она немного ослепила его, тем более что до сих пор ее сопровождала удача. Силы гетманов еще не были тронуты, а за ними стояли все могущество Польши, сила права, власти и воли Божией.

Поручик отошел от Чарнецкого с более спокойным и легким сердцем; на прощанье он спросил еще Чарнецкого, не желает ли он сейчас же начать переговоры, с Хмельницким об освобождении.

– Я пленник Тугай-бея, – ответил тот, – и заплачу ему выкуп, а с этим бродягой не желаю иметь дела.

Захар, который и устроил Скшетускому это свидание с пленными, провожая его обратно до телеги, тоже утешал его:

– С молодым Потоцким нетрудно было справиться, – говорил он, – вот с гетманами будет труднее. Дело только начато, а каков будет конец. Бог его знает! Набрали казаки и татары польского добра, а вот спрятать его – это другое дело. А ты, молодец, не горюй, не тужи... Получишь свободу, уйдешь к своим, а старик будет тужить по тебе. Хуже всего – это жить под старость одному на свете. Да, с гетманами будет трудно, ох, трудно!

И действительно, победа эта, хоть и блестящая, не решала однако дела в пользу Хмельницкого. Она могла даже повредить ему, так как легко можно было предвидеть, что великий гетман, мстя за смерть сына, бросится на запорожцев с особенным ожесточением и сделает все возможное, чтобы сразу уничтожить их. Великий гетман не любил князя Иеремию, и хотя нелюбовь эта маскировалась любезностью, тем не менее довольно часто проявлялась в различ-

ных обстоятельствах. Хмельницкий отлично знал это, но предполагал, что теперь эта натянутость исчезнет и что Краковский первый протянет руку для примирения, которая обеспечит ему помощь славного воина и его могучего войска. А с такими соединенными силами да еще под начальством такого вождя, как князь, Хмельницкий не отважился бы меряться, так как сам еще не был достаточно уверен в себе. Он решил поэтому спешить, чтобы явиться в Украину одновременно с известием о желтоводской битве и ее исходе и чтобы ударить на гетманов прежде, чем к ним подоспеет княжеская помощь.

На другой день после битвы, на рассвете, он двинулся в поход, не дав даже отдохнуть войску. Он шел так быстро, как будто убегал от кого-нибудь. Войско шло вперед, заливая, точно волна, всю степь, минуя леса, дубравы и курганы, и то и дело переправлялось через реки. Дорогой казацкие войска все усиливались, так как к ним постоянно присоединялись все новые и новые толпы бегущих из Украины казаков. Они приносили также вести и о гетманах но вести эти были разноречивы: одни говорили, что князь сидит еще за Днестром; другие – что он уже соединился с коронными войсками. Одно только твердили все единогласно, что вся Украина объята огнем. Мужики не только бежали навстречу Хмельницкому в Дикие Поля, но поджигали города и села, нападали на своих панов и повсеместно вооружались. Коронные войска бьются уже две недели. Стеблов вырезан, а под Деренговцами произошла кровавая битва. Городские казаки перешли уже кое-где на сторону черни и всюду ждут только сигнала. Хмельницкий рассчитывал на все это и торопился еще больше.

Наконец он у порога: Чигирин настезь открыл пред ним свои ворота. Казацкий гарнизон тотчас же перешел на его сторону. Войско разгромило дом Чаплинского и истребило горсть шляхты, искавшей убежища в городе. Радостные крики, колокольный звон и процессии ни на минуту не прекращались. Пожар охватил и окрестности: все брались за косы и пики и присоединялись к запорожцам. Несметные толпы черни стекались со всех сторон в казацкий лагерь; дошли и радостные, верные вести, что князь Иеремия, правда, обещал свою помощь гетманам, но еще не присоединился к ним.

Хмельницкий вздохнул свободнее. – Он немедленно двинулся вперед и шел теперь среди бунта, резни и огня. Трупы и выжженные города и селения отмечали его путь. Он двигался, точно лавина, все уничтожая на своем пути. Перед ним расстился заселенный край, за ним пустыня. Он шел как мститель, как легендарный змей, шаги которого оставляли кровавые следы, а дыхание – пламя пожаров. – Наконец он остановился с главными силами в Черкассах, выслав предварительно вперед татар под начальством Тугай-бея и дикого Кривоноса, которые, догнав гетманов под Корсунью, не колеблясь бросились на них.

Но эта смелость дорого обошлась им... Отраженные и разбитые в прах, они отступили в смятении.

Хмельницкий кинулся к ним на помощь. Дорогой до него дошло известие, что Сенявский с несколькими полками присоединился к гетманам, которые оставили Корсунь и шли в Богуслав. Это была правда. Хмельницкий без сопротивления занял Корсунь и, оставив там свои повозки, запасы и провиант, одним словом, весь свой обоз, погнался за ними.

Ему не надо было долго гнаться, так как они не успели уйти далеко. Его передовые отряды наткнулись на польский лагерь под Крутой Балкой.

Скшетускому не удалось видеть эту битву, потому что он остался в Корсуне, в обозе. Захар поместил его в доме Забокшицкого, которого перед тем повесила чернь, и приставил к нему уцелевших казаков Миргородского куреня, так как толпа продолжала грабить дома и убивать каждого, кто ей казался ляхом. Скшетуский видел сквозь выбитые стекла целые толпы пьяных окровавленных мужиков, которые, засучив рукава, бродили из дома в дом, из лавки в лавку, перешаривая все углы и чердаки; время от времени раздавался страшный крик, означающий, что они нашли шляхтича, мужчину, женщину, ребенка, или еврея. Жертву тащили на рынок, где подвергали ее самому ужасному надругательству. Толпа дралась между

собою из-за остатков трупов, обмазывала себе кровью лицо и грудь, обвивала вокруг шеи еще дымящиеся внутренности, хватала еврейских детей за ноги и разрывала их надвое среди безумного смеха толпы; бросалась даже на дома, окруженные стражей, где были заперты знатнейшие пленники, которых оставили в живых потому, что надеялись получить за них значительный выкуп. Татары и казаки, стоявшие на страже, отталкивали толпу, колотя по головам нападающих древками пик, луками или плетьюми из бычей шкуры.

То же самое происходило и у дома, где находился Скшетуский. Захар велел бить чернь без милосердия; миргородцы с удовольствием исполняли это приказание, потому что хотя низовцы охотно принимали во время бунтов помощь черни, но относились к ней несравненно презрительнее, чем к шляхте. Ведь не напрасно же назывались они «благородно урожденными казаками»! Сам Хмельницкий впоследствии неоднократно отдавал татарам значительные толпы черни, которые уводились татарами в Крым, где их продавали в Турцию и Малую Азию.

Толпа, безумствовавшая на рынке, дошла до такого дикого неистовства, что, в конце концов, стала убивать своих же. День уже клонился к вечеру, толпа зажгла один конец рынка, церковь и дом священника, но, к счастью, ветер относил огонь в сторону поля и препятствовал дальнейшему распространению пожара. Громадное зарево осветило рынок, словно яркий солнечный свет. Сделалось так жарко, что трудно было дышать. Издали доносился страшный грохот пушек, – очевидно, битва под Крутой Балкой становилась ожесточенной.

– Горячо там, должно быть, нашим! – ворчал старый Захар. – Гетманы не шутят! Ой! Потоцкий настоящий воин!

И потом прибавил, указывая в окно на чернь:

– Они теперь гуляют, но если Хмель будет разбит, то и над ними погуляют!

В эту минуту раздался лошадиный топот, и на рынок въехало несколько десятков всадников на взмыленных лошадях. Почерневшие от пороха лица, беспорядочная одежда и обвязанные тряпками головы свидетельствовали, что эти солдаты примчались прямо с поля сражения.

– Люди, спасайтесь, кто в Бога верует! – кричали они. – Ляхи бьют наших!

Поднялся крик и шум. Толпа заколыхалась, как волна, разгоняемая ветром. Дикий страх овладел людьми, и они бросились бежать; но так как улицы были загромождены возами, а одна часть рынка охвачена пламенем, то и бежать было некуда.

Чернь начала толпиться, кричать, бить, душить и молить о пощаде, хотя неприятель был еще далеко.

Скшетуский, узнав, что делается, чуть было не сошел с ума от радости; он, как помешанный, начал бегать по комнате, колотить себя в грудь и кричать:

– Я знал, что так будет! Теперь они имеют дело с гетманами, со всей Польшей. Час возмездия настал! Что это?

Снова раздался лошадиный топот, и на рынке появилось на этот раз уже несколько сотен всадников, одних только татар. Они бежали очертя голову; толпа загораживала им дорогу, они бросались в нее, топтали, били и секли их нагайками, отталкивая лошадьми на дорогу, ведущую в Черкассы.

– Они бегут словно ветер! – кричал Захар.

Едва он успел вымолвить это, как мимо них проскакал второй отряд за ним третий; бегство казалось всеобщим. Стража около домов тоже начала волноваться и обнаруживать желание обратиться в бегство. Захар выскочил на крыльцо.

– Смирно! – крикнул он своим миргородцам.

Дым, жара, сумятица, лошадиный топот, встревоженные голоса и вой толпы, освещенной заревом, производили впечатление сцены в аду, на которую поручик смотрел из окна.

– Какой погром должен быть там! – кричал он Захару, забывая, что тот не мог разделять его радость.

Между тем как молния промчался новый отряд беглецов.

Грохот пушек потрясал стены корсунских домов.

Вдруг чей-то пронзительный голос закричал у самого дома:

– Спасайтесь! Хмель убит! Кшечовский и Тугай-бей тоже!

На рынке началось настоящее светопреставление. Люди в безумии бросались в огонь. Поручик упал на колени и, подняв кверху руки, начал молиться:

– Боже всемогущий! Великий и Праведный Боже! Слава Тебе в вышних!

Вбежавший в комнату Захар прервал его молитву.

– Ну-ка, молодец! – крикнул он, запыхавшись. – Выйди к миргородцам и пообещай им пощаду, потому что они хотят уходить, а как только уйдут, чернь сейчас же бросится сюда!

Скшетуский вышел на крыльцо. Миргородцы беспокойно вертелись перед домом, явно обнаруживая желание бросить все и бежать на дорогу, ведущую к Черкаскам.

Страх обуял всех в городе. Из-под Крутой Балки, словно на крыльях, мчались все новые и новые толпы беглецов. Однако главные силы Хмельницкого, похоже, еще давали отпор; исход борьбы, очевидно, еще не выяснился, и пушки грохотали с удвоенной силой.

– За то, что вы усердно охраняли меня, – торжественным голосом произнес Скшетуский, обращаясь к миргородцам, – вам не надо спасаться бегством, обещаю вам милость гетмана.

Миргородцы все до одного обнажили головы, а поручик гордо посматривал на них и на рынок, пустевший все больше и больше. Что за перемена судьбы! Скшетуский, которого еще недавно везли в обозе как пленника, стоял между дерзкими казаками как господин среди слуг, или как шляхтич между холопами. Он, пленник, обещает теперь пощаду, и при виде его все обнажают головы и робкими голосами, выражающим страх и покорность, вызывают к нему:

– Помилуйте! Заступитесь!

– Как я сказал, так и будет! – ответил им поручик.

Он действительно был уверен в этом, так как пользовался расположением гетмана, которому не раз возил письма от князя Иеремии.

Он стоял, гордо выпрямившись, а лицо его, ярко освещенное заревом пожара, светилось радостью.

«Вот, война уж и кончена! Волна разбилась о порог! – думал он. – Чарнецкий был прав: силы Польши неизмеримы, и могущество ее прочно».

Он гордился этим. Гордился не тем, что враг разбит и унижен, и не тем, что перед ним снимали шапки, а тем, что он сын этой победоносной и всемогущей Польши, о стены которой разбиваются все напасти и удары, как адские силы о врата неба. Он гордился, как шляхтич и патриот, который остался тверд в несчастье и не обманулся в своей вере. Он уже не жаждал больше мести.

«Польша разгромила их, как королева, но простит, как мать», – думал поручик.

А пушечные выстрелы слились между тем в непрерывный грохот.

По пустынным улицам снова застучали лошадиные копыта. На рынок влетел на неоседланном коне казак без шапки, в одной рубашке, с израненным и залитым кровью лицом. Осадив коня, он распростер руки и, ловя открытым ртом воздух, кричал:

– Хмель бьет ляхов! Побиты ясновельможные паны, гетманы, полковники, рыцари и кавалеры.

С этими словами он зашатался и рухнул на землю. Миргородцы подскочили к нему на помощь.

Лицо Скшетуского вспыхнуло и моментально побледнело.

– Что он говорит? – горячо обратился он к Захару. – Что случилось? Не может быть!

Воцарилась глубокая тишина... Только на другом конце рынка бушевал, рассыпая снопы искр, огонь, да по временам с треском обрушивались горевшие дома.

Но вот опять несутся новые гонцы.

– Побиты ляхи! Побиты! – кричат они.

За ними тянется отряд татар: они идут медленно, ведя пеших пленных Скшетуский не верит глазам; но он узнает на пленниках мундиры гетманских гусар и, всплеснув руками, странным, не своим голосом упорно повторяет.

– Не может быть! Не может быть!

Все еще слышится грохот пушек. Битва еще не кончена. Однако все уцелевшие от пожара улицы наполнены толпами запорожцев и татар. Лица их черны, груди тяжело дышат, но возвращаются они радостно и с пением.

Так возвращаются воины только после победы.

Поручик побледнел как мертвец.

– Не может быть! – повторял он хриплым голосом. – Не может быть! Польша...

Его внимание привлекает, что-то новое: это едут казаки Кшечовского с целой кучей знамен. Они выезжают на середину рынка и бросают их на землю.

Увы, знамена польские!

Грохот пушек смолкает; вдали слышится стук подъезжающих возов; впереди всех едет высокая казацкая телега, за нею целый ряд других, окруженных казаками Пашковского куреня в желтых шапках; они проходят около самого дома, где стоят миргородцы.

Скшетуский приложил руку к глазам, так как его ослеплял блеск пожара, и стал всматриваться в лица пленников, сидевших на первом возу.

Вдруг он откинулся назад, хватая руками воздух, точно пораженный стрелой в грудь, и с губ его сорвался страшный, нечеловеческий крик:

– Господи Иисусе Христе! Матерь Божия! Это – гетманы!

И он упал на руки Захара, глаза его закатились, а лицо осунулось и застыло, как у покойника.

Несколько минут спустя трое всадников выехали во главе бесчисленного множества полков на площадь корсунского рынка. Средний, одетый в красное, сидел на белом коне и, опираясь на золоченую булаву, гордо, по-царски поглядывал кругом.

Это был Хмельницкий. По бокам его ехали Тугай-бей и Кшечовский.

Польша лежала в пыли и крови у ног казака.

## Глава XVI

Прошло несколько дней. Всем казалось, что на Польшу внезапно, рухнул небесный свод Желтые Воды, Корсунь, уничтожение коронных войск, до сих пор всегда одерживавших победы над казаками, взятие в плен гетманов, страшный пожар по всей Украине, резня и убийства – все это обрушилось так неожиданно, что никто не хотел верить, чтобы сразу столько бедствий могло постигнуть одну страну. Одни оцепенели от ужаса и обезумели, другие предсказывали пришествие антихриста и близость последнего суда. Вследствие этого порвались все общественные Связи, пошатнулись человеческие и родственные узы; исчезла всякая власть, пропало различие между людьми. Ад спустил с цепей все зло и послал его гулять по белу свету: убийство, грабеж, вероломство, насилие, разбой и неистовство заменили труд, честность, веру и совесть. Казалось, что люди отныне будут жить не добром, а только злом и что чувства и мысли их тоже переменялись: то, что прежде казалось им бесчестным, считалось теперь святыней, и наоборот. Солнце не светило больше: его застилал дым пожаров, а по ночам зарево заменяло собою звезды и месяц. Пылали города, деревни, костелы, усадьбы и леса. Люди перестали говорить, а только стонали или выли, как псы; жизнь утратила цену. Тысячи людей гибли без следа, без воспоминаний. А среди всех этих ужасов, убийств, стонов, дыма и пожаров вывышался один только человек, вырастая, как гигант, почти затемняя дневное светило и бросая тень от моря до моря.

Это был Богдан Хмельницкий.

Двести тысяч вооруженных и опьяненных победой людей ждали только его мановения.

Чернь восставала всюду, городские казаки также присоединялись к нему. Вся страна, от Припяти до степных окраин, была охвачена огнем; восстание в воеводствах – русском, подольском, волынском, брацлавском, киевском и черниговском – все усиливалось. Могущество гетмана росло с каждым днем. Никогда еще Польша не выставляла против самого страшного врага и половины тех сил, какими он располагал теперь. Таких сил не было даже и у немецкого государя. Буря превзошла всё ожидания. Сам гетман не сознавал сначала своего могущества и не понимал, как мог так высоко подняться. Он прикрывался справедливостью и верностью Польше, потому что еще не догадался, что это только слова, которые он может безнаказанно топтать. Но по мере того как возрастало его могущество, в нем возрастал также бессознательный и безграничный эгоизм, равного которому нет в истории. Понятия о добре и зле, о пороке и добродетели, о насилии и справедливости слились в душе Хмельницкого в одно понятие о личной обиде или выгоде. Добродетельным в его глазах был тот, кто был с ним заодно; злодеем – тот, кто против него. Он готов был бы восстать, и против солнца и считать личной обидой то, что оно не светило тогда, когда ему это было нужно. Людей и целый свет он мерил собственным «я» и, несмотря на все свое лицемерие и на всю свою хитрость, был искренен в этом чудовищном взгляде. Отсюда проистекали все злодеяния Хмельницкого, но вместе с тем, и добрые дела; если он не знал меры в издевательстве и жестокости в отношении врага, то зато умел быть благодарным за все, хотя бы и невольно оказанные ему услуги. Однако когда он был пьян, то забывал о благодеяниях и, рыча от бешенства, с пеной на губах, отдавал жестокие приказания, о которых сам же сожалел впоследствии. А чем сильнее рос его успех, тем чаще он напивался, так как тревога все больше и больше охватывала его душу. Казалось, что удача подняла его на такую высоту, о какой он совсем и не думал. Его могущество поражало других, но пугало и его самого. Исполинская река бунта неумолимо несла его с быстротой молнии, но куда? Чем должно кончиться все это? Начиная восстание во имя личных обид, этот казачий дипломат рассчитывал, что после первых же успехов или даже поражений он начнет переговоры: его простят и удовлетворят за причиненные ему обиды и потери. Он хорошо знал Польшу, ее безграничное, как море, терпение, ее бесконечное милосердие: ведь Наливайке,

совсем было погибшему, даровали же прощение. Теперь же, после победы на Желтых Водах, поражения гетманов, после того как война разгорелась во всех южных воеводствах, когда дело зашло так далеко, а обстоятельства превзошли все его ожидания, – должна завязаться борьба на жизнь или смерть.

Но на чьей стороне будет победа?

Хмельницкий прибежал и к гаданью по звездам, стараясь проникнуть в будущее, но видел перед собою только мрак. Временами его охватывала страшная тревога, а в груди, подобно буре, бушевало отчаяние. Что будет? Что будет?

Хмельницкий знал лучше других, что Польша таит в себе исполинскую силу, хотя не умеет пользоваться ею и даже не сознает ее. А если бы кто-нибудь захватил ее в свои руки, кто устоял бы тогда против нее? Кто мог предугадать, не уничтожит ли страшная опасность и близкая гибель внутренних несогласий, личных счетов и зависти панов, раздоров, сеймовой болтовни, своеволия шляхты и бессилия короля? Полмиллиона одной только шляхты могло выступить в поле и уничтожить Хмельницкого, хотя бы ему помогал не только крымский хан, но и сам турецкий султан.

Об этой дремлющей силе Польши знал еще, кроме Хмельницкого, покойный король Владислав; поэтому он всю свою жизнь трудился над тем, чтобы начать борьбу на жизнь и смерть с сильнейшим в мире монархом, так как только этим и можно было призвать ее к жизни. Потому-то король не побоялся даже возбуждать казаков. Было ли суждено казакам вызвать это наводнение для того, чтобы наконец погибнуть в нем самим?

Хмельницкий понимал также, насколько страшен отпор этой самой Польши, несмотря на всю ее слабость. В ней не было ладу, единодушия, она была своевольна и беспорядочна, но о ее стены ударялись самые страшные из всех волн – турецкие волны, и разбивались, как о скалу. Он собственными, глазами видел это под Хотинном. Эта же Польша, даже во времена своей слабости, водружала свои знамена на стенах столиц соседних государств. Какой же теперь даст она отпор? Чего не совершит она, доведенная до отчаяния, когда ей придется или умереть, или победить?

Потому-то каждое торжество Хмельницкого представляло для него новую опасность, так как приближало минуту пробуждения дремлющего льва и делало все более невозможным какое бы то ни было примирение. В каждой победе таилось будущее бедствие; на дне каждого кубка – горечь. Против казацкой бури разразится гроза Польши. Хмельницкому казалось, что он уже слышит ее отдельные глухие раскаты.

Против него пойдут и Великая Польша, и Пруссия, и Мазовия, и Малая Польша, и Литва; им нужен только вождь.

Хмельницкий взял в плен гетманов, но и сквозь эту удачу проглядывало предательство судьбы. Гетманы были опытными воинами, но ни один из них не был таким человеком, какого требовала настоящая минута грозы, ужаса и бедствий.

Вождем их мог быть теперь только один человек.

Это был князь Иеремия Вишневецкий.

Раз гетманы попали в неволю, то, вероятнее всего, выбор падет на князя. Хмельницкий, равно как и другие, не сомневался в этом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.